

ПОЛОВИНА ПЕРВАЯ. БЛОКНОТИК

– Наша задача – это чтобы успешно принять военную присягу.

(Замначполит майор Одинокий)

– Генерал-лейтенант Свирепов потянул носом, двинул бобрком и матюгнулся на весь батальон.

(Пётр Палиевский, инструктор-предшественник)

– Во время занятий надо иметь блокнотики и записывать.

Могу поставить в пример товарищ-Иванова – он на занятиях всё время... это... пишет в блокнотике.

(Полковник Группый)

29 июля

Лёнька подстриженный – смешной!

Бегаем по Арбату в поисках эмалированных кружек. Нету. Купили две пиалки с цветочками. Из них в лагере – пить «все соки земли», больше ничего.

30 июля

Двор университета. Знакомые лица. Загорелый усатый Артур, странно пополневший Ратгауз, привычно необъятный поэт Олег Кузнецов с журфака. Лёшка Чаплеевский, слегка растерянный от обилия новых впечатлений.

Байгушев:

– Лёська, я в колхозе в самый день отъезда в тебя влюбился.

И прибавил какую-то скабрёзность, чтобы не сочли паинькой.

Теплушка. Тела. Водка. Преферанс. Играют – Бочкарёв, Дольберг, Распевин и Лёшка. Бочкарёв по обыкновению артистично хладнокровен и ироничен. Распевин пошл: сплёвывает

на пол, матерится скрипучим голосом. Лёшка играет подчёркнуто усердно, по-моему, он чего-то смущается и не знает, куда приткнуться.

Выпили и от души поговорили с Артуром Ермаковым о политике. Счастливый он человек, Артур, счастливый своей убеждённостью.

Юрка Озеров, раскрасневшись от 50 граммов водки, залез на полку и заверещал:

– Славное морррре, священный Байкал!! Славный коррррабль, омулевая бочка!!!

Лёшка оторвался от карт:

– Стукните его кто-нибудь фотоаппаратом по чему-нибудь!

Что-то Лёшка смущается, словно виноват в чём-то...

Отъехали от вокзала с полкилометра, встали на какой-то стрелке, вдруг кричат:

– Лёська! К тебе пришли!

Продираюсь сквозь тела к двери – у вагона мой чудесный рыжеголовой Мельчук и сияющая Верочка.

Спрыгиваю к ним. Они догуляли в Закарпатье, вернулись сегодня в 3 часа ночи и вот пришли меня провожать. Верочка так похорошела! Мы схватились за руки, смеялись. Хорошо!

МЕЛЬЧУК И ВЕРА

Выскочил к нам и Журат Ганиев. В ковбойке! Хорошо. Походом пахло.

Тронулись... Перед отъездом ещё раз забежал на почту. Нет писем. Она так и не оставила мне обещанного письма. Наверное, и мои не взяла.

Когда мы встретимся в сентябре, я возьму её паспорт, пойду с ней на почту, заберу оттуда мои письма к ней (такие нежные) и там же, при ней, не распечатывая, разорву.

И мы опять поссоримся.

Отец наш доволен.

31 июля

Стемнело. На два часа застряли под Владимиром. Потом, наконец, затарахтели.

Не спалось. Лежали в темноте, скалили зубы, ругались, смеялись, анекдотили. Байгушев пытался проникновенно читать Есенина, но это было не в тон, все ржали, он не обижался... а может, и обижался, но втихую.

Потом задремали. Состав останавливался и трогался, держался и качался, и мы просыпались и засыпали.

Вдруг во время очередной остановки донёсся бравурный марш, и тут же – ругательства во всех углах нашей теплушки: раз марш, значит, приехали...

ПУГОВКИН ДОВОЛЕН

Выгрузка. На перроне – отец наш, п-к Пуговкин: расставил журавлиные ноги и ржёт.

Коронные реплики:

– Советы дают – когда?!

– Когда их спрашивают, товарищ подполковник!! – я выкатываю глаза, Лёнька выдвигает челюсть.

– В противном случае это называется – как?!

– На-вязчивость, товарищ подполковник!!

Отец наш лыбится:

– Ну, я вам прямо доложу, что я, хе-хе, доволен!

И мы ржём в ответ.

Оркестр играет марш. Становится вдруг приятно, что эти ребята-музыканты, вместо сна, торчали тут всю ночь, костеря наш эшелон, а теперь бацают, чтобы взбодрить нас, сонных. Значит, какой-то генерал сообразил, что это будет – хорошо, и – распорядился.

Идём через рощицу нестройной толпой. Два подполковника у дороги выпрямляются. Один из них бодро ревет:

– А выш-ше головы, ор-лы!!

И, подумав, уточняет:

– Эт-то вам не абстракция!

...Баня. Голые зады.

Сержант:

– У кого что осталось съестного, – сейчас всё съесть и – в ровик! – махнул рукой в сторону пруда.

Потом голые бегаем в банную палатку и обратно, и яркие белые зады делают людей похожими на каких-то странных животных.

Курсанты, «нижние» командиры наши – высокие, стройные, ладные, щёлкая каблуками, толпятся вокруг подполковника Пуговкина; в серой предрассветной мгле они похожи на жеребцов.

Раздали военную форму. Дольберг сразу стал похож на себя два года назад: одно плечо выше другого, одна нога привалена к другой.

Тридцать шесть часов на ногах. Ходим взад-вперёд, получая и относя оружие. Пыль. Столбом – из-под сапог впереди идущего. Забивается в рот и за шиворот.

ПЕРВЫЙ ОТБОЙ

В час дня ротный объявляет отбой:

– И штобы через три минуты – ни ш-ш-шевеления!!

В жаркой душной палатке не заснуть. Идём с Артуром к взводному (курсант, красивый, лет двадцати):

– Можно сбегать на пруд ополоснуться? В палатке заснуть невозможно.

– Нельзя. Вообще тут на это надежды мало. Мы и сами на пруд не ходим. Только если с занятий убежишь.

Мы щёлкнули каблуками, дождались, пока он ушёл, и дунули к пруду. Окунулись, высохли, легли на берегу. В воде плескались гладкие дяденьки, слышался мат, на берегу лежали кители с майорскими погонами. Чуть подалее орала и топили местных девчонок красавцы-парни, на берегу лежали их курсантские фуражки. Один парень со странно знакомым лицом подмигнул мне.

Мы с Артуром ещё подремали. Потом ещё раз искупались. Вдруг парень со знакомым лицом надел майку, трусы, форму и превратился в нашего взводного. Направился к нам. Подождал, пока мы молча оделись. Потом спросил строго:

– Какого взвода?

– Второго, товарищ сержант!

– Отделения?

– Третьего, товарищ сержант!

– Почему самовольно ушли?

«Не бойся, – шепчет Артур, – он сам здесь сачкует...»

Молча поворачиваемся и идём за сержантом к палаткам.

Я его спрашиваю невинным голосом:

– У вас тут высокие мостки... попрыгаем?

– Ага! – соглашается он. И уточняет командирски: – В своё время. Всем взводом, по команде. Раз в неделю.

– Небогато, – замечаю я дружелюбно.

– Ну, потом и почаще. Соответственно обстановке...

Мы приближаемся к палаткам. Наш взводный без паузы взвивается голосом:

– Пач-чему без гимнастеров!? В следующий раз – накажу!

– Виноваты!! – подхватываем мы с Артуром.

– Чтоб без опозданий на построение, – говорит наш мальчик и, сверкнув глазами, исчезает.

БЕЗУ

– Р-ряв-няйсь! Хыр-р-рна!!!

Старшина роты поворачивается на каблуках и, держа руку у уха, трусит вдоль палаток к мелькнувшему на том конце линейки генералу. Не найдя его там, он возвращается к роте, растерянно мигая. Мы сидим на шатких деревянных скамьях и, прячась друг за друга, едим мороженое, принесенное Сашей Палшковым. Впереди играет демократическими нотками какой-то незнакомый капитан:

– Товарищи студенты! Начинаем наше первое комсомольское собрание. Товарищи назад! Сидящие! Прошу вас пересесть сюда вперед, а задние скамьи *обсвободить!*

Слово для доклада на тему «Задачи студентов на сборах» берёт многозначковый и ласковый генерал Репликов.

– Товарищи! С этого дня слово «студент» мы из нашего обихода а-пускаем. Так. Вы знаете, что в нашей стране нет эксплуатации человека человеком..

Мороженое подходит к концу. Генерал продолжает:

– Чтобы наш свободный народ нам иметь в непоколебимой уверенности, вы, студенты, должны иметь следующие высокие физические и моральные качества, во-первых...

Я пишу письмо домой.

...– Все это значит, что женевские обещания США и западных держав покоятся на обмане...

Письмо дописано. Делать нечего.

– ...Поэтому я прочитаю вам план наших с вами занятий...

Я стал вспоминать лозунги, которыми украшена наша линейка. «Живи и учись по уставу». «Наша армия самая сильная»...

– ...Хищение оружия – это такое ротозейство с нашей стороны, что ему не подыщешь наименования. Ибо враг похищает наше оружие, чтобы убить нас...

Вздых ужаса пронёсся по рядам.

– ...А утром нужно воздерживаться от того, чтобы не пить сырой воды...

Володька Бочкарёв предлагает ребус: «ХЙ». Оказывается: «Безу». Лёнька от восторга жуёт воздух.

1 августа

Первый день нормальной лагерной жизни.

– Равняйся!

Голова направо. Ровный ряд зелёных карманов и заросших щетиной щёк, только вдаль ориентиром – ярко освещённый солнцем нос Гриши Богуша с журфака.

Пыль.

– С места с песней... щяхо-ом... а-арш!!

Взяли сходу знакомую:

Ша-гать осталось нам немного!

Вдали виднеется она-а!

Железная дорога

Федулово-Москва!!

Федулово – ближайшая от лагеря деревня. Песня, вообще-то, не очень официальная. Сбоку идёт помкомвзвода и боязливо оглядывается. Но не прерывает.

...Валерка Симаков, такой чёткий и собранный в штатском, надев военную форму, стал похож на изумлённого птенца: большие круглые увеличенные очками глаза, раскрытый рот; ходит и смотрит на всех.

Снять:

1. Взвод идёт сквозь пыль.

2. Дольберг на утренней зарядке стоит, обняв себя тонкими руками.

...Курсант Злынский стоит перед строем и, раздвигая челюсть, орёт:

– Втор-рзя р-рэта! Смыр-ря!!

И усмехается спектаклю. Однажды в паузе после такой команде мы отчетливо услышали смешок курсанта Варшамова.

...Старшина роты сержант сверхсрочной службы Курвин остановил роту, подал «равнение» и затрусил вдоль палаток, ища, кому отдать рапорт. У линейки наткнулся на Пуговкина, выгнул грудь, выкатил глаза и рявкнул отцу нашему:

– Товарищ подполковник!! Вторая ррэта...

Пуговкин беспокойно задвигал руками, оглянулся растерянно, хотел что-то сказать, но поперхнулся.

Курвин сделал «кругом» и презрительно бросил нам:

– Вольно.

Во втором отделении басами заржали журналисты.

Через руки Пуговкина прошли на военной кафедре все нынешние поколения филологов. Как-то, зимой ещё, мы с Лёньюкой

обнаружили стол, исписанный вариациями его фамилии: «Испуговкин», «Перепуговкин», «Хапуговкин»...

Кажется, это изощрялись наши предшественники, возможно, ОМих, ППал и другие нынешние «олимпийцы» (Лакшин от военных занятий освобождён, у него с ногами что-то). После долгих дебатов мы определили две лучшие вариации, но так и не решили, какая из них удачнее: «Гавкинпу» и «Пукингов».

ПОЛИТРАБОТА

Политработой на сборах ведаёт тихий и безголосый майор Одинокий. Он ходит по палаткам и, глядя куда-то тебе в темя, просит:

– Вы – курсант Иванов? Вы не согласитесь быть агитатором? Вот и хорошо.

После обеда меня поднял сержант Варшамов:

– Замполит вызывает! И Ермакова тоже!

Бежим с Артуром к офицерской курилке.

Майор Одинокий долго листает свою записную книжку и шевелит губами, потом скрипуче спрашивает:

– Товарищ Ермаков, мы с вами уже беседовали?

Артур быстро соображает, как выгоднее ответить, и отчеканивает:

– Никак нет, товарищ майор!

– Ах, да... Это мы с товарищем Ивановым беседовали.

– Тоже никак нет, товарищ майор! – рапортую я.

Он всматривается мне куда-то в темя и неуверенно говорит:

– Ну, как же, а у вас в палатке разве мы не беседовали, чтобы вы стали агитатором?

– Так точно, товарищ майор! – вытягиваюсь я.

Есть особое удовольствие произносить это: «так тоШно».

Майор выступает на каждом комсомольском собрании. Косится на широкий золотой погон справа или слева и тихо делится:

– Немецкий варМахт с американским фюрЕром... как об Ентом со всЁй силой сказал в своём докладе товарищ генерал.

Генерал Репликов непроницаем.

В задних рядах хихикают, потом вполголоса матюкаются. Богуш определяет:

– ДемОсфен.

Лёнька уточняет:

– Одинокий Цицерон.

И мы продолжаем есть мороженое.

САМОПОДГОТОВКА

Сидим в классе и пишем письма. Тишина и скрип перьев. Два сержанта, оставленные при нас для проведения занятий, стоят у стола, на котором лежит разобранный карабин, вокруг – улыбающиеся морды. Оттуда доносится тихий провокационный голос Олега Кузнецова, рассказывающего анекдоты, и взрывы смеха.

– Атанда! Отец идёт!

– М-мать... – Приговаривает один из сержантов. – Опять офицер. И чего их сюда носит.

Олег Кузнецов громко вычитывает:

– Ствол карабина служит для направления полёта пули! Он имеет четыре нареза.

Подполковник Пуговкин проходит мимо, бодряще опустив углы рта.

Олег выжидает пару секунд и шёпотом продолжает:

– Возвращается муж с курорта, а жена.

Брыкин пишет письмо своей Наденьке и одновременно прислушивается. Потом начинает что-то вымарывать из письма:

– Чёрт! Увлёкся и ляпнул сюда эту кузнецовскую похабщину.

От стола слышится:

– Восемь ног, два хвоста и один глаз. Что это такое?

Сержанты замирают:

– Что?!

– Это кот с кошкой. У кошки закрыты оба глаза, а у кота только один!

Все ржут.

Лёнька спрашивает:

– Это – самоподготовка. А когда же будет сама подготовка?

Просит книжку.

Лев Аннинский с усами и тигр Акбаров с бородой.

Акбаров – с журфака. Действительно с бородой.

ФЕДУЛОВСКАЯ ПЫЛЬ

2 августа

Четыре часа «инженерной подготовки» в открытом поле в самое жаркое время дня. Ни облачка! Полковник, обливаясь потом, нудно перечисляет виды мин. Мы стоим в шеренге. Наконец, он смилостивился и посадил нас в ровик, на раскалённый песок, лицом к солнцу. В ровике – никакого движения воздуха. Так сидим больше часа.

Я, оказывается, плохо переношу жару. Дух мутится. Штаны на коленях горячи, как сковорода, солнце на лбу обжигает неподвижно. Тошнит. Наконец, скомандован перекур. Никакой тени поблизости – мы выскакиваем на бугорок, чтобы словить хоть подобие ветерка. Я бегаю взад и вперед, считая шаги, чтобы отвлечься от ощущения жара.

Что за идиотство – читать нам *лекцию* – здесь! Тащить сюда из лагеря, из классов – образцы мин, тащить за полтора километра всю эту «материальную часть» и нас гнать сюда! Нет предела тупости военщины.

Артур говорит, что напьётся, если доживёт до того времени, когда армию вообще упразднят.

Весь день тошно от этой солнечной ванны. Тепловой удар, что ли? Не доел обеда.

– Рота! Стройся!

Бегу. Зелёные шеренги.

– Р-равняйся! Почему опаздываете! Быстро в строй!

Пристраиваюсь с фланга. На меня глядят круглые ожидающие глаза сержанта.

– Виноват.

– Тот-то. И больше чтоб не опаздывать мне в строй!

– Слушаюсь!

– Смырррна!! Шахо-ом... арш!!

Идём. Странно. Идём в роту. А Злынский обещал озеро. Гляжу на соседей. Незнакомые лица. Толкаю в бок:

– Какая рота?

– Вторая. А ты откуда?

У меня что-то съёживается внутри. Моя первая рота идёт сейчас к озеру, а я, сдуру втиснувшийся в ряды юристов, иду в обратном направлении: их ведут спать.

Пыль. Проклятая федуловская пыль.

Мы идём на тактическое поле. Ведёт Злынский, комвзвода. Это праздник, когда ведёт – он. Жёсткий, даже свирепый при начальстве, он становится совсем другим, когда мы одни.

Идёт рядом, разговаривает. Разрешает расстегнуть воротники – «до выхода из леска». Там, за леском – поле и полковник.

Мы подходим.

– Застегнуться! Пререкратить рразговоры!! Взять ногу!!! Ррав-нение... стуй! Смы-ррнаа!! И штоб ни звука мне!!! – Злынский преобразился. Глядит на нас, прищурясь, углы губ опущены:

– Рразговоры!! – и вдруг еле видно подмигивает. – А то там полковник хреновый.

Выжимаем майки

3 августа

– Командирам отделений – произвести утренний осмотр! Во втором отделении осмотр производит замещающий командира отделения старшина Палшков!

Саша выходит из шеренги идёт вдоль строя, кокетливо поглядывая на наши выпяченные груди. Журат Ганиев в такт его походке играет на губах марш Черномора. Заметив это, старшина роты сержант сверхсрочной службы Курвин обиженно командует:

– Первая шеренга, шаг вперед!

– Ладно, стойте так, – вполголоса дублирует Палшков. Это его первая команда.

... Стриженный и полуобросший Байгушев похож на пятнистую гиену.

Бежать в противогазе при полной выкладке, с накидкой и в «чулках». Потом – бежать к лагерю на другие занятия. Не успеть обмыться. Химия – самое отвратительное из наших занятий. Выжимаем майки. Фотографируем чёрные от пота спины.

Нет, я не буду ссориться с ней.

«ТАНКИ И САУ»

Молодой лейтенант с синими глазами ходит перед нами, время от времени любовно поглаживая броню серо-зелёного танка, похожего на присевшую лягушку. Лейтенант совсем не похож на военного, ходит, вытягивая шею, улыбается и жестикулирует.

– А экипаж у танка у этого, ну, как вы думаете, сколько? Пять человек, вот сколько, видите, как? А вот я вам сейчас покажу новый танк, ой, это ж такая прелесть, просто игрушка, а не танк!.. Подойдите-ка вот сюда... Нет, ближе... Я с вами уж так, по-граждански... А ведь в Цветмете работал, так что. А это кто там лежит?

Под деревом – тело цвета хаки.

– Эй, проснись! Перерыв давно кончился!

– Лежит, гад.

– Шишками его! Залпом!

Град шишек летит в лежащего. Никакой реакции. Кто-то хватает с земли железный обруч и с силой пускает его; обруч звенит о дерево у самой головы. с этим звуком с земли вскакивает Юра Озеров и, продрав красные глаза, галопом несётся в строй.

САУ насмешливо скалится, глядя на нас.

Мы с Лёнкой перед отбоем уходим в лесок и, глядя друг на друга «со значением», шёпотом орём:

– Третьему дню лагерной жизни... у-у-ррец!!

«Ура» – не хочется, а то, что полагается орать, – неприлично.

КОМАНДИРЫ

4 августа

Самый неприветливый из наших командиров – наш «комод» Рубен Варшамов. Фигура довольно изящная, но – красное личико, опущенные углы рта, маленькие обиженные глаза, раздражённый, хриплый, брюзжащий тон. Этот человек нигде, совершенно нигде, даже когда идёшь с ним в сортир, не становится просто человеком, просто парнем 1936 года рождения – всегда это мелочный, придирчивый, недовольный начальник. Если во время купания спросить у него, какая завтра будет погода, он ответит, что распорядок нарушать не положено.

Однажды мы стояли на линейке в ротном строю. Лёнка дежурил у грибка. Перед строем ротный что-то объявлял. Потом он обернулся к грибку, словно вспомнив что-то:

– Вы Козлов?

Лёнка пошёл к нему от грибка, говоря на ходу:

– Товарищ лейтенант, вам просили передать, чтобы выделить ещё двух человек на кухню.

Вдруг перед Лёнкой вырос Варшамов и сипло, как из трубы, закричал ему:

– Рядовой Козлов! Отходить от грибка во время дежурства не положено!

Маленький, аккуратный Варшамов, въедливый и непроходимо официальный... Нет, нам определено не повезло с командиром отделения!

Вот Злынский, командир соседнего отделения, – совсем другой. Высокий, стройный, с узкими чёрными глазами, он весь словно из тонкой гибкой стали. Резко и ясно отделяет службу от чисто-человеческих отношений. Командир – строгий и чёткий, он прост и добр там, где нет старших офицеров.

Ганиев о Варшамове:

– Говно, понимаешь, с большой буквы.

5 августа

Злынский чем-то напоминает нашего взводного Стученкова из позапрошлого лагеря, а Варшамов – Петрулевича, одного из сержантов того же лагеря. Петрулевича не любили: маленький, сухой, с ярко-красными выпяченными губами, всегда раздражённый, даже озлобленный, он кричал на нас таким обиженным голосом, что, казалось, его мучила зависть. Я никогда не видел его улыбки. Рассказывали, что Петрулевич не выносит воинской службы, что убежал когда-то из суворовского училища, что его силой вернули, а матери (которая растила его без отца) вчинили счёт на несколько тысяч рублей.

Вчера Артур пошёл в соседний лагерь, недалеко, за леском: там у него земляки-ярославцы. Он нашёл наших позапрошлогодных знакомых: и Стученкова, и чудесного Ваню Кудельского, того самого, что шепелявил: «Вжвод, штройшя!» – и подавался весь вперед от носочков до острого носика, а когда у него был день рождения, и мы пришли к нему с бутылкой водки, улыбнулся: «А вы, если выпьете, не начнёте драться?»

Артур просидел у них до отбоя.

Он узнал, что этой зимой Петрулевич, уже произведённый в офицеры, застрелился.

СРОК

6 августа

Лёгкий день: ни одного полевого занятия. Сидим в классе, слушаем устав, который нам вслух читает без комментариев полковник. Вечером начнутся двухдневные учения: две ночи без сна в окопах, затем атака и проч. Перед вечером нам дали поспать, перед сном – искупаться.

Я лежал на траве, грелся, глядел на воду и думал, почему всё-таки самый трудный день нашего закарпатского похода неизмеримо *легче*, чем вот сейчас лежать под солнышком и греться, и глядеть на воду, в которой в любой момент можно искупаться.

Почему?

Почему даже самый пустой день в лагере хуже самого нагрозного дня в походе? Он *легче*, и всё-таки он хуже. Хуже

тем, что каждую минуту, каждую секунду над тобой тяготеет чувство мелочного, постоянного недобровольного подчинения; хуже тем, что если Эдик Злынский, лежащий сейчас рядом с тобой в плавках, скажет: «Строиться», – ты тотчас засуетишься, сядешь, обуешься в сапоги, натянешь горячую гимнастерку, навьючишь на себя душную скатку и пойдёшь.

Не трудность, не физическая тяжесть определяют настроение здесь, нет. Для этого есть более сильное понятие: *срок*.

Перед нами было тридцать дней. Осталось двадцать пять. Когда кончатся двухдневные учения, это будет значить, что прошла *четверть срока*.

Эдик поднимает голову, говорит:

– Строиться! – и превращается в сержанта Злынского.

Вечер. Строимся. Взвод ведёт лучший из сержантов – Алик Федорченко, самый любимый из комодов – командиров отделений. О нём бы – отдельно записать... Сейчас некогда. Идём.

Учения начинаются. Первый этап – *рекогносцировка*.

Учения

10 часов вечера. Уже час, как из хвойного леса, что виден теперь сзади, проползли пыльным дном окопа в середину большого, перерезанного траншеями, перевитого проволокой поля. Впереди, за проволокой, в других окопах – ребята-историки, которые вечерами так хорошо поют. Полковник сказал нам, что они теперь – «наш противник».

Полковник чуть акцентирует (по-моему, татарин):

– Мы должны вести непрерывный... это... наблюдение, чтобы наш противник не мог нас атаковать... это... внезапно.

Сидим на дне окопа, *обозначаем внимание*. Напротив, втиснувшись в стрелковую ячейку, съёжился в комочек Володя Бочкарёв, уткнул в грязные рукава шинели красный нос.

– Вин-нимание! Повторите, какие есть... это... сигналы атаки. Вот вы, студент.

– Студент Ратгауз, товарищ полковник!

– Вот, давайте, студент Рогау.

В окопе смех. Бочкарёв устало закрывает глаза: «Вот комедия».

Ратгауз неуверенно начинает:

– Рота, слушай мою команду.

– Какая рота?! Мы – взвод!

Хохот.

– Не знаете? Ну, тогда вы, студент.

– Студент Дольберг!

Некоторое время слышится бормотание Алика, потом голос полковника:

– И вы не знаете, студент Гольбниц!

Хохот.

– Ти-ха!! Противник нас *фиксирует!* Ни звука! Ай-ай! Кто же это там ходит во весь рост? Генерал увидит!! – Голос полковника крепнет и усиливается: – Эй, кто там ходит?!

Из-за бруствера доносится:

– Виноват, я.

– Какой-такой виноват?» Почему ходите? Низ-зя!!

– А я уезжающий...

– Вон отсюда!! Не ходит!! Генерал увидит, совсем плохо будет! Бочкарёв, сделав брови домиком, тайком закуривает и выпускает дым в рукав.

Тотчас – окрик:

– Кто там курит?!

– Никак нет, товарищ полковник!

– Как нет? Встать, кто курит!

– Никак нет.

– Нет есть! Встаньте вот вы, ноги видны! Фамилий ваше! Володька медленно поднимается:

– Бочкарёв, товарищ полковник.

– Почему курите?

– Никак нет!

– А что есть?

– Ничего нет, товарищ полковник!

– Признайтесь, что курили?

– Никак нет!

– А что есть?

– Ничего нет.

Разговор идёт по кругу. Мы держимся за животы. На третьем витке Бочкарёв сдаётся:

– Так точно, товарищ полковник!

– Что точно?

– Виноват, товарищ полковник.

Грбовая тишина: все ждут приговора.

Полковник выносит:

– Я вас не наказываю, товарищ-Бочкарёв. Вот, учтите. Володька заваливается в свою ячейку и меланхолично производит:

– В сорок шестом году один парень вошёл в класс в пальто, вывернутом наизнанку и натянутом на голову, сказал: «Я – Зиг-

мунт Колосовский», вынул пробковый пистолет, пальнул в учителя и убежал.

6 августа

9 утра. Час назад закончились учения. События этих двух дней позади. Сегодняшний день принадлежит нам. Завтра – воскресенье.

Восстанавливаю в памяти картины боя и похода.

Вернувшись с рекогносцировки позавчера в 21.00, к 23.00 мы уже опять оказались в траншеях. Было тихо и темно. По траншее качались сонные офицеры. Мы с Журатом Ганиевым лениво двигали лопатками, *обозначая* доработку профиля. Было скучно, хотелось спать.

Вдруг зашептались: кто хочет в поиск? Сильный Шарпов, ловкий Черников, опытный Бишев, дисциплинированный Палшков?

Злынский ходил по траншее своим быстрым, цепким шагом и предупреждал:

– Следите за оружием! А то «ихний» поиск сопрёт, беды не оберёшься!

Полковник, сидя в ходе сообщения, говорил каждому:

– Тищце, товарищ, противник вас фиксирует!

Злынский усмехался в его сторону с видом: унесло бы тебя куда-нибудь...

Разнесся слух, что поиск поведёт сержант Федорченко, и мне сразу захотелось пойти.

Олег Федорченко

Олег Федорченко – командир первого отделения нашего взвода – самый любимый из наших начальников-курсантов. Взглянешь – не сразу и поймёшь, что он такое. Большие, детски оттопыренные губы, чёрный пушок усов, вздернутый нос, спутанная чёрная чёлка через весь лоб – не то гусар, не то оголец с улицы.

Не то и не другое – просто парень. Хороший парень. Что-то мальчишеское в этой чёлке, в том, как ходит, а больше бегаёт, как болтаются у него руки-ноги. И – подкупающая, мальчишеская же непосредственность в открытом взгляде масляно-чёрных, пожалуй, меланхолических глаз. Глядит на тебя – и кажется, что вот-вот что-нибудь скажет, чертовски простое и завлекательное, вроде:

– Пошли купаться!

Ноль официальности. Вначале это удивляло, даже насто-раживало. Помню, он вёл троих дневальных купаться. Я встре-

тил их у столовой и попросился с ними. Он так долго и искренне объяснял мне, почему не может мне это позволить (что его отпустили только с троими, и нас может поймать ротный и т.д.), что я влюбился в него больше, чем если бы мы с ним искупались.

Удивительно свой. Рассказывает, захлебываясь. Стоит за нас перед начальниками.

Помню, в классе – стальные глаза и жёсткий рот Злынского:

– Двадцать минут – собрание, потом – на озеро.

ФедОра – вполголоса:

– Лучше сначала на озеро...

Сидит на перилах класса, свесив ноги. Милая морда. Лёшка Чаплеевский не выдержал, взвыл:

– Ой, Федо-ора!

И Злынский тоже не выдержал:

– Ладно. Идём на озеро.

Лёнька Козлов удачно определил Федору: большой голенастый щен: играет, бегает, выкидывая крупные лапы, и страшно доволен жизнью и своими проказами.

Ничего тупо-военного! Очень любим его.

Л. Козлов:

Длинно! Все короче: Комод-1, ФедОра – весельчак с бесом в крови, лучший из одесситов, рожденных в 1933 году.

Итак, поиск поведёт Федорченко. Бегу по траншее, налетаю на него:

– Олег, возьми меня!

Чёрный чуб из-под пилотки, чёрные виноватые глаза:

– Ой, все просят. А, ладно. Идём!

Полковник Группый даёт указания:

– Задача поиска – уточнить траншеи... так? И ходы сообщения противника. Вернуться к двум ноль-ноль... это... ночи, так? И – не шалить у меня! Выполняйте, товарищ. забыл фамилию.

Злынский, провожает его взглядом:

– Этого типа мы уговорим пойти спать, мешает тут. Зайдите со стороны леса. Напрямую в их окопы не лезьте. При возможности стырьте у них что-нибудь. И – не драться там! Ну, давайте.

Мы бежим через лесок вслед за Олегом: Артур, я и Лёшка. Переползаем дорогу, проскакиваем тропку.

Голоса!

Олег замирает. Навстречу нам по тропе движется поиск противника: двое ребят из второй роты. Мы отползаем. Они громко обсуждают свой маршрут и проходят, не заметив нас.

Бежим дальше. По овражку подбираемся к окопам. Я выдвигаюсь ползком и сигналию фонариком: путь свободен.

Ползём. Овражек кончается. В десяти метрах – «их» траншея. Мы зашли к ним в тыл.

Федора говорит чуть слышно:

– Есть два варианта. Или ползти, пока не заметят. Или. – Он посмотрел на нас своими выразительными одесскими глазами.

– Мы притворяемся связными от полковника Шпыняева, начальника цикла, к подполковнику Пуговкину, который руководит игрой. И идём открыто. А?

Мы закуриваем и выпрямляемся.

– Стой! Кто идёт?

– Свои! К Пуговкину, связные!

Спрыгиваем, идём по траншее, переступая спящие тела. Федора шепчет:

– Схватим карабин – и драла в лес. Стой, рано!.. Только бы меня не узнали наши курсанты – они в этой роте комодами.

Словно в ответ на эти слова впереди раздаётся иронически-радостное:

– Федора?! Ты что тут делаешь?

Сержант в курсантских погонах хватается Федорченко за рукав. Олег делает нам знак молчать и начинает что-то длинно объяснять сержанту. Тот недоверчиво слушает и наконец говорит:

– Пуговкина?.. Да вон он!

Над задним бруствером вырастает знакомая долговязая фигура отца нашего.

– Что за люди? – он сгибается в нашу сторону.

Мы шмыгаем в тень.

– Это со мной! – Федорченко лезет к нашему отцу на бруствер:

– Товарищ подполковник! Я прислан связным от полковника Шпыняева...

Пуговкин кладёт руки на причинно-следственное место, откидывается назад своим тощим корпусом и тоненьким голоском спрашивает:

– А как же вы сюда проникли?!

– А прямо прошли, товарищ подполковник.

– И вас про-пу-сти-ли?! – переспрашивает отец наш самым высоким дискантом, доступным его богатому горлу.

– Нет, нас остановили.

– И что же? – голос отца нашего подымается до инфракрасных высот.

– И спросили, кто мы, – ест его чёрными глазами Олег.

Пуговкин растопыривает руки и громко орёт басом:

– А-а-а, яс-ное море!! Значит, всё-таки остановили! И даже спросили! Так они не спят, мои орлы! Га-га-га!! Я же так и знал, что они не спят!!

– Они, товарищ подполковник, даже в нас стреляли, – подливает масла в огонь Федорченко.

– А-гааа! – орёт отец и начинает вращать осиным задом. – В вас стреляли! То-то же, яс-ное море! Ещё бы они в вас не стреляли? Ну, и как вам понравились мои солдаты? Я ведь знал, что они не спят, я всё знал!!

Федора, набрав воздуха, начинает тараторить:

– Полковник Шпыняев приказал мне передать вам, чтобы вы, товарищ подполковник, организовали поиск в сторону траншеи наступающей стороны. Направьте его к двум соснам, там проход...

– Проход!! – орёт Пуговкин. – Белов, ко мне!! Белов, ясное море! Мы пошлём поиск! Направление – две сосны!

– Нам надо идти, – осторожно напоминает Федора.

– Пра-пустить их!!

Мы вылезаем из траншеи и, давясь от хохота, во весь рост идём к нашим. Вскоре впереди мелькают чёрные тени и слышится голос:

– Короткими перебежками.

Целый взвод ползёт нам навстречу. О, да это журфаковцы! Обступают нас.

– Чего вы? – спрашиваю Симакова.

– Хотели вас в плен взять. А вы чего?

– А мы – из поиска.

Симаков берёт меня под руку и спрашивает с откровенной завистью:

– Вы были там?

Татиринов обхватывает меня сзади, Симаков спереди, и мы, хохоча, сваливаемся в траншею прямо в объятия Злынского. Федора, заливаясь смехом, начинает рассказывать. Я иду на другой край позиции к Лёнке. Тут довольно тихо, только со стороны противника доносится гогочущий баритон:

– Яс-ное море! Немедленно поиск в сторону противника! Белов! Я вам говорю!..

Мы сосредоточенно слушаем.

Оттуда доносится:

– Ниже! Ниже! Разве так ходят в разведку? У вас торчит извиняюсь за выражение!

Около меня возникает Федора со взрывпакетом в руке.

– Олег, куда ты?

Он подмигивает мне, вылезает на бруствер и ползёт в направлении голоса. Несколько минут тихо. Затем у двух сосен хлопает взрывпакет, и раздаётся дикий хохот. И сразу же – баритон Пуговкина:

– Назад! Назад, яс-сное море! Вы обнаружены!

Хохот всё ближе... через минуту в окоп вваливается задыхающийся от смеха Федора. Он держится руками за наши плечи и рассказывает между взрывами хохота:

– Дождался я их у двух сосен. Ползут двое. Я между ними пакет бросил. Он ка-ак жажнет! Они вскочили – и драть обратно!

В конце окопа возникает полковник Группый:

– Титтшш! Вы, курсант Петроченко и этот, забыл фамилие! Вас фиксируют! Почему опоздали с разведкой! Я приказал вернуться в два часа! Пы-лохо! Сапсем пылохо! Курсант Пидорченко, делаю вам это. замечание. Ай-ай-ай!

Светаёт.

Злынский смотрит на часы и командует выходить строиться в лес. Идём на завтрак.

В пять утра – атака.

Куда идём, товарищ полковник?

Предрассветный холод. Мы сидим в круглом окопе у «сорока-пятки». Нам повезло: мы в артрасчёте.

Впереди в поле виднеется виллис генерала Репликова. Сам генерал – на другом конце поля; его фигуру можно различить по животу. Полковники и прочие офицеры бегают от него и к нему, а больше вокруг него; все это похоже на спектакль; странно, что все они – взрослые люди. Наш полковник Группый в своей длинной гимнастёрке похож на бабу, он бегает за генералом, а оказавшись близко к нам, кричит что-нибудь вроде:

– Почему сидите? Генерал здесь! – и нам видно, какое у него испуганное лицо.

Делать нам нечего. Наш окоп готов. Атака через час.

Спали ночью полтора часа.

Вечером Сашка Палшков и Акрям Биишев ходили в поиск. Говорят, что доползли аж до самого Пуговкина. Решили взять его в плен и схватили за ногу. Акрям помирал со смеху, рассказывая, как отец наш отбрыкивался другой журавлиной ногой.

Интереснее всех ходил в поиск Петро Шарапов. Нагрузился взрывпакетами и холостыми патронами, взял карабин, пополз.

Минут через десять у вражеских заграждений послышалась стрельба, взрывы и крик:

– Ураа!

Это Петро Шарапов играл в войну.

... Дремлется...

– Ракета!

Мы вскакиваем. У лесочка тарахтят танки. Бахает взрыв, в небо взлетает бочка бензина: это имитируется атомная бомба. Ещё ракета – танки пошли, и вслед за ними побежали ребята из нашей роты. Мы заворачиваем нашу пушку, влезаем в кузов и едем вслед за ними.

Атака кончена. Траншея, в которой мы вчера вечером пудрили мозги Пуговкину, взята. Наш взвод в противогазах выдвигается к дороге. Последним идёт Ратгауз. Его можно узнать по тому, как он откидывается назад и выгибает грудь; видимо, задыхаясь.

Нам скомандовали вытряхнуться из кузова и разделить со всеми прелесть пешего марша.

Прошли три километра, затем нас догнал виллис генерала. Полковник остановил нас, выстроил и ждал, стреляя глазами. Генерал, оказавшийся вблизи добрым старичком, улыбнулся, скомандовал: «Садись!» и произнёс несколько фраз о смысле произведенной нами атаки. Смысла я не уловил.

Потом мы опять пошли, и полковник Группый учил нас на ходу:

– Вы, товарищ... забыл фамилию! Генералу нужно отвечать зычным голосом! А вы? Ай-ай-ай...

Потом впереди послышались выстрелы. Мы развернулись в цепь и пошли в атаку на старый сарай, откуда по нам били холостыми патронами, а когда мы подошли под самые стены сарая, оттуда на нас выкинули старую драную плетёную корзину. Однако мы взяли сарай штурмом. Оттуда были извлечены сияющие журфаковцы Бойко и Богуш. Полковник Группый решил их отчитать за пренебрежительное отношение к колхозной собственности в виде корзины, но больше, чем «Ай-ай-ай», ничего не придумал.

Потом мы шли рощицей, выслав дозор и ожидая засады. Засады всё не было. Не знаю, сколько бы мы ожидали ещё нападения, если бы кто-то из наших не наступил в кустах на лежащее тело. Послышались густые матюги, и с земли поднялся злой заспанный журфаковец Айрапетян.

– Ты чего тут? – ахнули мы.

– Я в засаде! Идите вы...

– Успеем. А если ты в засаде, чего не стрелял?

– Мне патронов не дали! Идите!..

К месту происшествия затрусил полковник Группый:

– Тишшш! Товарищ. как вас, забыл фамилие! Прекратить беседу с противником! Генерал близко! Ай-ай-ай, а?

Мы пошли дальше.

Мы шли, бежали, ползли. Потом залегли и притаились. Тут журфаковец Лёшка Киселёв бабахнул короткой очередью из автомата в воздух, и тотчас рота услышала тонкий пронзительный крик Алика Дольберга, неизвестно каким образом оказавшегося под самым боком у Киселёва. Рота перестала наблюдать за противником и обернулась на крик. Над полем, над окапывающейся ротой, над изрытой родной землей возвышалась на тонкой шее худая чёрная всклокоченная голова Дольберга; он матерился плачущим голосом, оскалившись и глядя не на Киселёва, незначай оглушившего его выстрелами и жутко смущённого этим, а на нас: он звал нас к сочувствию, его вытаращенные глаза, белый оскал на чёрном лице и впрямь вызывали жалость.

– Ладно, не ори! – прикрикнули на него.

Комод Голованов пожал плечами и отвернулся.

Потом Злынский поднял нас, вывел на дорогу, и мы пошли, поднимая пыль. Дольберг шёл рядом со мной. Он шёл без карабина, разведя руки, вихляясь всем телом, загребая сапогами и напряженно двигая тонкой шеей.

– Негодяй, он меня оглушил, оглушил! – повторял Дольберг, всхлипывая. – Негодяй, он нарочно оглушил меня! Я тут кончусь... Я кончусь.

– Алик, неужели так трудно? – спросил я.

– Но он оглушил меня! Негодяй!

– Он случайно, Алик, – вспомнил я широкое доброе и жутко смущённое лицо Киселева.

– Он нарочно! – вскрикнул Дольберг. – Он негодяй!

– Приставить ногу! – донеслось спереди, и мы прекратили спор.

– Тридцать минут отдыха! – объявил Злынский. – Ложись!

Я рухнул на траву, и всё заныло. Какая-то полудрёма навалилась.

– Не спать, не спать! – заговорили вокруг. – Раскиснем, не подымемя!

Разнесся слух, что Группый ждёт генерала. Наконец, между деревьями показалась знакомая полная фигура, зафырчал идущий следом виллис.

– Встать! – прокричал Группый и, взяв под козырёк, побежал навстречу генералу.

Еле двигая ногами, мы стали строиться. Генеральский виллис запылил дальше.

Впереди показался мост.

– Стой! Искать брод! Мост заминирован!

На заминированном мосту, опершись о перила, стоял улыбающийся генерал Репликов.

Пошли вброд. По жаре оно ничего.

Потом сделали изрядный крюк по лесу: видимо, Группый плутал. Мы матюгались, Федора пожимал плечами, Злынский презрительно щурился, Голованов сплёвывал.

– Куда идём, товарищ полковник? – решились на вопрос самые отчаянные.

– Тишшш! – и полковник побежал к Голованову уточнять направление. Полковник тактики не в состоянии запомнить ни одного названия деревни, не говоря уже о наших фамилиях, к тактике отношения не имеющих.

– Товарищ полковник, мы же по кругу идём!

– Но я же тоже иду! – парировал он.

Он шёл в личных хромовых сапогах, сухой и лёгкий, а мы, хлюпая кирзой, тащили амуницию и оружие.

Я не мог на него злиться как на человека. Только жалел, что такой человек имеет над нами власть.

Наконец, стемнело. Мы поужинали и легли.

Алик и Гриня

Два часа ночи. Подъём, атака и марш-бросок к лагерю. 10 километров.

Я благодарил бога, что набрал форму в Карпатах, но тут было совсем другое.

Мы шли, подымая пыль, и всё время около меня слышалось:

– Ой, я здесь кончусь... У меня стёрты обе ноги. Я не могу... Ой, не толкайтесь, пожалуйста! Есть вещи, которых человек, ну, просто не в состоянии выдержать.

– Алик, но ведь все идут, – отмахивался я.

Дольберг вздыхал, но через несколько минут всё начиналось снова.

Я старался не смотреть на него.

Я смотрел на Ратгауза. Не забуду его бледного, потного лица и потухших глаз. Он шёл, волоча ноги и высоко поднимая плечи при вдохах, словно ему не хватало воздуха. Он молчал. Только прислушавшись, можно было уловить, что он монотонно

гудит что-то, а если вслушаться ещё внимательнее, можно было понять, что он читает немецкие стихи.

Сзади, отстав от колонны, припадая на обе ноги, закусив губу, идёт Лёшка Чаплеевский с бледным и злым лицом.

А ещё дальше, сзади колонны, волоча небольшую пушечку, медленно едет грузовик, в кабине которого рядом с водителем сидит полковник Группый. В кузове – никого: полчаса назад по приказу Группого были ссажены все, кто стёр ноги.

– Тишшш! – пресёк полковник наш ропот. – Кто стёртый, тот в медсанбат! Только санитарный машин! Генерал увидит – нельзя!

Лёнька просит перо...

Л. Козлов:

Сержант Голованов, идя рядом с арьергардным дозором:

– Ну, вот Ратгауз! Че-ло-век! Хороший человек! А ЭТОТ что? ЭТОТ... Ну, пусть привыкает... Свалится? Так и надо. В другой раз дойдёт нормально.

А во время ночной атаки, между перебежками, когда мы все прижались к земле под бенгальским огнём ракет противника, метрах в двадцати за спиной послышалось знакомое сдавленное ржание. Сержант Федорченко стоял на коленях и трясущимися руками пытался поджечь взрывпакет. Зачем? Бросить в своих!? К нему на помощь поспешил Голованов и, кусая губы, зажёг, наконец, спичку. В этот момент мы поднялись в атаку и услышали сзади сначала шипенье, потом хлопок, потом тонкий взвизг и удаляющийся топот. Взрывпакет был брошен в Дольберга! На этот раз за дальностью мы не услышали его мата, но услышали резкий возглас Злынского:

– Вернуться в строй!! А ну бегом!!!

2000. Грейнем Ратгауз через полвека – крупнейший германовед и переводчик с немецкого. Александр Дольберг – политэмигрант, бежавший сначала в ФРГ, потом перебравшийся в Австрию, потом в Швецию...

В 1990 году я с группой Лены Немировской попал в Лондон на геллнеровскую конференцию по проблемам национальной политики. С нами летела Лариса Беспалова. В аэропорту Хитроу нас встречали. В группе встречавших стоял плотный человек, которому Лариса приветливо помахала рукой; узнав её, он подпрыгнул от радости; через несколько минут они расцеловались.

– Не узнаёшь? – спросила меня Лариса.

Я всмотрелся: на гладком лице плотного лондонца цвела ослепительная улыбка.

– Это же Алик Дольберг, – сказала Лариса после паузы.

– Господи, Алик... – я почувствовал, что краснею. – О, амбал... Ты ж был такой то-о-оненький...

– Отъелся на эмигрантской похлёбке, – ответил он мне в тон. – А я тебя узнал, Лёська... ну, впрочем, я ж тебя видел по телеящику.

Пару дней спустя, сбежав с одной из «панелей» конференции, мы сходили в бар. Алик угостил меня пивом и рассказал, что недавно был в Ленинграде: присматривал факультет для своей подростковой дочери.

Впереди послышались выстрелы. Мы развернулись в цепь. Как выяснилось, звуки исходили от засевавшего в кустах Байгушева.

Потом на дороге показались две девушки, рослые и статные. Взвод закашлял. Злынский блеснул улыбкой:

– Стой! Борода, ко мне!

Из строя вышел маленький щуплый журфаковец Акбаров, носитель окладистой чёрной бороды, разрешённой начальством по спецмедсправке и являвшейся достопримечательностью нашего взвода.

Злынский с видом заговорщика приказал:

– Арестовать их!

И сел у кустиков.

Спотыкаясь и волоча карабин, Акбаров пошёл навстречу девушкам. Он был похож на басмача, взвод уже заранее давился от смеха. Акбаров подошёл, посмотрел снизу вверх, сказал:

– Дёвушки... – и попытался взять одну из них за локоть. Та отмахнулась и пошла вперед, не отставая от подруги. Борода простёр к ней руку:

– Эй, маэстро!..

В этот момент Злынский бабахнул сразу из двух ракетниц.

Девушки оглянулись:

– Да тьфу на вас! – и пошли дальше, легко отстранив Акбарова, преградившего им путь.

Злынский встал во фрунт:

– Взвод, стройся! Прекратить посторонний смех! Вслед за неприступными красавицами шшягом – арш!!

Л. Козлов:

Настроение повышалось и, несмотря на почти поголовную хромоту, делалось все более воинственным. Если, штур-

муя Богуша в сарае, мы старались отлежаться на брюхе, то ночная атака прошла куда бодрее, начиная с нашего пробуждения, когда мы, клацая зубами, говорили:

– Дайте мне автомат! Где противник! Хочу стрелять!

«Арест девок» ещё более тонизировал взвод. Взвод был на боевом взводе. И когда, ещё метров через сто, впереди слышался выстрел, – все стали палить в воздух. Злынский хотел истратить все холостые патроны. Когда он крикнул. «Впереди засада, огонь!» – мы его поняли.

Дело увенчал Ратгауз. Он задумчиво сказал:

– Дай-ка мне карабин, Константиныч! – двумя руками поднял его и бабахнул в воздух в странной непосредственной близости от Дольберга...

...Подошла санитарная машина. Полковник скомандовал выйти из строя тем, у кого стёрты ноги. Он долго смотрел на журфаковца Фолуменова, что-то мучительно вспоминая, потом сказал:

– Рядовой Минометов.

– Фолуменов, товарищ полковник! – крикнули из строя. Группый улыбнулся:

– Ну, я и говорю – Феноменов. А почему вы смеётесь? Садитесь в машину, рядовой, э, Филодело, э.

– Нет. Я пойду.

– Молодец! – заметили из рядов.

– Хорошшш, товари-Минаретов, – одобрил полковник. И подошёл к Ратгаузу:

– Фамилия?

– Ратгауз.

– Хотите в машину, рядовой Рогоу?

– Никак нет, товарищ полковник. Пойду.

– Молодец! – прокомментировали из рядов.

Злынский улыбнулся.

Полковник указал на Лёшку:

– А вы, рядовой. забыл фамилию?

– Чаплеевский, товарищ полковник!

– Рядовой Чаплин...емский. садитесь в машину!

– Никак нет. Пойду!

– Молодец! – оценили из рядов.

Злынский улыбнулся.

Тут проблеял слабый голос:

– Товарищ полковник, я себя не совсем хорошо чувствую.

Из рядов вышел Дольберг.

Злынский усмехнулся.

Полковник повёл Дольберга к машине. Через пять минут они вернулись:

– Учтите, товариш бойцы: в машине врач, он смотрит каждого. Рядовой Домбер, как выяснилось, здоров.

Дольберг, кривясь, встал в строй.

Злынский, кривясь, скомандовал:

– Шагом – арш!

Полковник отправился к машине. Мы двинулись, подымая пыль.

БОЧКАРЁВ

В первом взводе случилось самое тяжёлое: Володька Бочкарёв забыл на привале карабин. У них там полковник Бицоев с университетской кафедры, весёлый осетин. Володька ехал в машине и хватился карабина, когда отъехали метров на 50. Бицоев позеленел и приказал шофёру развернуться. Он не проронил ни слова, пока карабин не нашли, а потом приказал Володьке пешком догнать взвод. Володька догнал нас только на привале. На нём лица не было: смотрит в одну точку, губы перекошены, идёт, тяжело припадая то на одну, то на другую ногу. Попытались разговорить его – молчит.

Полковник Группый жутко разволновался, узнав о происшествии: потеря оружия – ЧП на всю дивизию. Собрав сержантов, полковник что-то говорил им, размахивая руками. Потом сержанты подошли к нам. Злынский презрительно смотрел мимо, Федорченко растерянно отворачивался, добродушный Голованов всё-таки подошёл к Бочкарёву и тихо сказал:

– Чего ж ты свинятничаешь?

Тот, казалось, не отреагировал – смотрел перед собой остановившимися светлыми глазами, из которых исчез обычный Бочкарёвский смех.

Жаль, что это произошло именно с Володей Бочкарёвым, – добрый, умный парень, отличный студент...

2002. Владимир Бочкарёв покончил с собой вскоре после окончания университета. Это было первое самоубийство среди моих однокурсников. Но не последнее: спустя два года в Сибири покончил с собой Шарапов.

Мы пошли дальше. На очередном привале Группый подошёл к Бочкарёву:

– Товаришшш... э... Бочкин. У вас же старты обе ноги. Ай-ай-ай. Идите в машину.

Мы замерли.

– Я не пойду в машину, – ответил Бочкарёв чуть слышно.

– Правильно! – закричали из рядов. – Держись, Володька!

И наконец, впереди показался лагерь. Злынский остановил колонну, подравнял строй. Вперед вышел Группый:

– Тишшше, товаришшш курсанты! Уч-чение заканч-чивается. Генералу понравилось. Так, а? Но вот ваш товаришш... забыл фамилию... потерял своё боевое оружие. А если из этого оружия ему через несколько дней, а может, даже и месяцев. придётся воевать, а? Ай-ай-ай. Потом, некоторые рядовые товарищи стёрли ноги и просились в машину. Плохо.

Злынский довольно громко проговорил:

– Подумаешь, один смалодушничал.

– Пожалуйста, товарищ Зрынкин, подведите итоги как взводный командир, – разрешил полковник.

Злынский вышел перед строем – гибкий, поджарый, быстрый, сузил глаза:

– Что ж, неплохо прошли. Почти никто не ныл, а многие держались молодцами, хотя им было трудно. – Он помолчал. – Киселёв и Ратгауз, выйти из строя!

Те вышли.

– От имени командования за мужество и выдержку объявляю вам благодарность!

Вот они, перед нами, двое, похожие только тем, что у обоих стёрты ноги. Киселёв – фронтовик, ладный, собранный, привычно сжавший рот, и Ратгауз – бумажно-белый, с прилипшими ко лбу чёрными волосами, тяжело дышащий – то ли от изнеможения, то ли от волнения.

– Служим Советскому Союзу!

– Встать в строй! С песней – шагом – марш!!

Гу-улял па-а Уралу Чапаев-гярой!!!

Откуда только кураж взялся! Умница Злынский! Тридцать мокрых вояк походкой подагриков входят в лагерь с отчаянной, весёлой песней.

ЧЕТВЕРТЬ СРОКА

7 августа

Как помогает мне Мельчук сейчас – ходить десятки километров, не стирая ног, тащить оружие, не выдыхаясь, – помогает тем, что вытащил меня в поход.

Карпаты были в десять раз труднее и в сто раз приятнее: там мной не командовали.

Сегодня приняли присягу.

Свободный день. Пустота.

Мы – как повременные рабочие: считаем не количество усилий, не километры и мозоли, – мы считаем дни. Свободный день лучше не потому, что он легче, а потому что пройдёт скорее, незаметнее тяжёлого, – и ближе будет 28 августа.

Вечереет.

Прошла неделя.

Четверть срока.

Вадим, милый, здравствуй.

Извини, что пишу на таком обрывке, но в лагере не так-то просто достать бумагу, тем более, что весь мой бумажный запас составляют две записные книжки, в которых я привычно веду анналы – на сей раз лагерные. Наш полковник по тактике, требующий, чтобы мы записывали его объяснения, даже поставил меня в пример всему взводу:

– Товарищ Иванов хороший слушатель, он всё записывает себе в блокнотик.

Ребята прыснули: если бы полковнику показать то, что я пишу в блокнотик!

Прошла неделя. Четверть срока. Немного привыкли, немного приспособились к сержантам, немного ближе стал отъезд. Словом – веселее.

Интересного здесь мало. В основном повторяется программа лагерей позапрошлого года. Скучновато. Люди военные – разные. Многие раздражают, но есть и хорошие ребята.

Как ты там один? Тоскливо? Развлекли тебя хоть немного мои походные книжечки? Что ты скажешь обо всей этой эпопее? Как твои изобретательские дела? Пошёл ли индо-СТАН, и пошла ли в нём твоя деталь? А как твой «велосипед»?

Пишем я отсюда пишу мало: нету времени, устаю, а главное – не о чем, настолько всё однообразно. Чисто человеческие наблюдения идут в анналы и никак не вяжутся с жанром письма, но если тебя заинтересуют анналы – после срока вышлю.

Перспективы пока что малоинтересные: через три недели – экзамен на воинское звание, и только после этого – нормальная жизнь: диплом, газета и милая, демократическая и свободная суэта.

Я до сих пор так и не представляю себе вариантов распределения, совершенно тёмное дело: что? куда? кем? Думаю, что настоящая история жизни начнётся после распределения, и даже без прямой связи с ним, поэтому: если ты надолго обосновался на Урале, то всерьёз подумываю о Свердловске.

Ну, пиши мне, Вадим, очень хочется прочесть что-нибудь от тебя. Пиши сюда, только быстро, чтоб успело дойти до 26 августа. Если нет, то прямо на Потылиху.

Крепко целую тебя. Соскучился. Лёська.

ТЕРРИТОРИЯ ШМОНА

Суббота. После завтрака и чистки оружия от походной грязи нас положили спать до обеда. В 2 часа раздалось:

– Подъём! Собирать шишки, убирать территорию!

Какая тупость. Если надо убрать территорию, так для этого роту будят именно в середине отдыха, так что до и после работы остаются кусочки времени, бесполезные по своей малости.

Убрали территорию.

В воскресенье утром старшина роты Курвин, глядя на нас своим обычным обиженным взглядом, объявил:

– Так. Вчера вы отказались убирать территорию. Что ж, будете убирать сейчас.

Раздался смех, потом удивлённые возгласы. Курвин, напыжившись всей маленькой грудью, закричал:

– Разговоры! Убирать территорию!

– Да мы вчера убрали! – заорала рота.

Сашка Палшков взял меня за локоть:

– Не митингуй. Это ни к чему не приведёт. По воскресениям положено убирать.

– А чего же он плетёт, что мы вчера отказались!?

– А это он так. Это он так выразил мысль о том, что мы сейчас все равно должны работать.

– Да он... мыс-ли-тель...

– Молчи! Здесь армия. Пойдём и обозначим уборку. Он сейчас успокоится.

Маленький, щуплый Курвин стоял перед ротой, выпятив петушиную грудку и смотрел на нас победоносно-кислым взглядом. Мне всегда кажется, что лицо у него то ли мокрое, то ли вымазано соплями.

...Комод-4 Матеуш:

– Там по палаткам ротный прошёл. Что ему в тумбочках не понравилось, всё наверх повыкинул. Идите порядок наводить.

Мы стоим в палатках перед развороченными матрасами и выброшенными из-под них книжками, свёртками, тряпками. Молчим. Кто-то резюмирует:

– Ротный с войной прошёл.

Комроты Рогаткин – высокий щеголеватый лейтенант – встал перед ротой, вывернув носки и глядя на нас из-за поднятых ноздрей. Он умница, но, видимо, блажной и немного бравирует этим:

– Я проверил палатки. В одной, па-анимаешь, лежит мочалка, которой вы моетесь, и в той же коробке, па-анимаешь, сахар! Где у вас культура? Всё прибрать сегодня же! Выкину!

– А подполковник медслужбы разрешил сахар! – доложили из рядов.

– А командует ротой не подполковник медслужбы, а я, лейтенант Рра-гаткин! – Он помолчал, глядя на нас из-за носа. – Вопросы есть?

Злынский прикрылся ладонью и давится от смеха.

НЕ ЛЮБИТЕ ВАРШАМОВА?

8 августа

Голованов сказал:

– Не любите Варшамова? Чёрт его знает, был парень как парень, чего он на вас вызверился? Вы не пререкайтесь с ним. Мы сами примем меры.

Дольберг прибежал ко мне испуганный:

– Курсанты хотят с Варшамовым о нас поговорить... Они говорят, что мы его не любим. Об этом надо молчать!

Варшамова нет во взводе уже три дня, и на учениях 3-го июня его не было.

...Варшамов появился.

Л. Козлов:

Варшамов тих. Не орёт, не привязывается. С лица даже как-то исчезло желчное выражение. Вечером заглянул в палатку:

– Ермаков! Я принёс краски, где тут у вас газетчики?

Я вытянулся, опережая Артура:

– Газетчики вот!

– Ну, и берите их, – несколько меланхолично сказал Варшамов. Затем он присел на доски у входа, помолчал и сказал:

– Я, видимо, перейду в вашу палатку. Удовольствие небольшое – и для меня, и для вас... я угадал?

– Посмотрим, – ответил я. – Место у нас, во всяком случае, есть, а там...

Наступила длинная пауза. Артур «на завалинке» читал, я опять уселся внутри палатки. Варшамов молча сидел и обкусывал какую-то щепочку. Затем встал, тихо сказал:

– Ну, я сегодня принесу матрас и одеяло. – И ушёл.

9 августа

Все проснулись одновременно. И по тому, как одновременно все задвигались и зашуршали, стало ясно, что до крика: «Подъём!» три минуты. Мы вполголоса ворчали, наматывая портянки. В своём углу, накрывшись с головой, спал Варшамов.

Щёлкнул на столбе репродуктор, раздались позывные. Варшамов откинул одеяло, схватил сапоги. Мы уже сгрудились у выхода из палатки, готовые выскочить, а он судорожно дергал из сапог портянки.

– Что же вы меня не разбудили? – хрипло спросил он.

Ответ родился один у всех, но произнёс его Саша Палшков:

– А это в уставе не предусмотрено.

Была долгая пауза. Потом её прервал Акрам Бишев:

– Что-то эту ночь я спал, как в тисках. Тесно!

Варшамов, наконец, отреагировал:

– Пожалуй, завтра я постараюсь вернуться в исходное положение.

За палаткой разноголосо закричали подъём.

... Варшамов повёл нас на полевые занятия. Мы двигались плохо. И пели плохо. Он не привязывался, не делал замечаний, – и это как-то не шло ему. На перекурах вслушивался в наши разговоры и неуверенно улыбался. Как-то попытался вступить в разговор: матюгнулся шутливо, но явно не к месту. Все промолчали, никто не засмеялся.

Очень трудно человеку ужиться, если с самого начала восстановил всех против себя.

Сегодня после обеда Варшамов ушёл из нашей палатки.

Мы сидели и курили.

Мы знали, что вчера вечером он звонил в Москву. Разговор шёл насчёт его поступления на заочное отделение Полиграфического института. Никто из нас не спросил его о результате. Лениво говорили о каких-то пустяках, но больше молчали. Варшамов взял одеяло и матрас:

– Ну... я пошёл.

И исчез.

Кто-то сказал:

– Лёська, можешь перетащить свою постель на старое место.

2000. Миновал август, отошёл лагерь, миновали десятилетия, всё забылось, но именно Варшамов возник снова в поле моего зрения. Сначала я обнаружил эту фамилию под рисунками в книге. Это была «Формула Лимфатера» Лема. Рисунки явно талантливые, с болезненной срупулезностью к чудящим и галлюцинациям. Я подумал: неужели он? А как же военная служба?..

Тогда же, в середине 60-х годов, я был по делам в издательском корпусе то ли «Правды», то ли «Молодой гвардии». Большая табличка на одной из дверей остановила меня: «Журнал «Весёлые картинки». Главный редактор Р Варшамов». Тут я решился и толкнул дверь.

– Редактор в отъезде, – ответил мне сотрудник. – А вы кто? Я назвался.

– А, мы вас знаем! Принесли текст?

– Нет, я... я по другой линии... Я... служил в ковровском военном лагере в 1955 году, и курсант Варшамов был моим командиром отделения. Впрочем, прошло пятнадцать лет, вряд ли он помнит. Не передавайте ему.

Через пару недель раздался звонок:

– Это Варшамов. Помните? Жаль, что вы не застали меня.

– О... – Я смешался от неожиданности. – Конечно... Интересно было бы повидаться. Я знаю ваши работы.

– Я ваши тоже.

– Ну, вот.. и я увидел табличку на двери.

– Так заходите! И посотрудничаем, и старое вспомним!

Я обещал, но как-то не собрался. Мы не увиделись более.

Теперь я понимаю причины его ненависти к нам. Варшамов, как и мы, хотел рисовать, а не топтать в пыли. Кажется, он нам завидовал. Слава богу, он стал, в конце концов, художником.

БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ СИМУЛЯНТОВ

В офицерском клубе – «Белоснежка и семь гномов». На скамейках перед входом в клуб – завитые девицы из Ферапонтова и Федулова, статные курсанты. Расхаживают офицеры. Насто-

роженно озираясь, жмутся в стороне студенты в солдатских погонах: они тут противозаконно.

Нас четверо: Лёнька, Журат, я и Валерка Симаков. На нас внимательно глядят глаза курсанта. Валерка быстро отворачивается – это его взводный. Мы сидим спокойно: здесь вылавливают только своих, а нашего взводного Злынского не видать.

Поздно.

– Симаков! Ко мне!

Симаков отошёл к своему взводному. Они поговорили тихо, потом курсант крикнул:

– В расположение взвода – бегом!

Симаков понуро удалился. Но не побежал.

Появляется наш – Голованов. Подхожу к нему:

– Нам уйти?

Он смотрит широко открытыми глазами:

– Как это вы из роты сбежали? Ожидают облаву – в девять.

Будьте осторожнее, глядите в оба.

– Спасибо, – говорю я тихо.

Он улыбается.

Наконец, публика вываливается с предыдущего сеанса, освобождая нам место. Толпа прёт мимо нас. Неожиданно в ней возникают узкие глаза Злынского... Мы отворачиваемся – но поздно. Брови Злынского вскидываются, рот кривится от сдерживаемого смеха:

– Н-ну и ну! Вы здесь??

Пауза.

– Так точно, – шепчем мы.

– Ну, смотрите. Не попадаться!

– Будет исполнено! – так же шёпотом.

Озираясь, мы крадёмся в зал. Он полупуст – зрителей совсем мало. Смотреть фильм некому, а там, в роте, сидят и скучают наши ребята, не сумевшие сбежать сюда.

Гаснет свет, Белоснежка начинает свои подвиги, в зале слышится:

– Какого взвода? Разрешение есть? Почему здесь? В роту быстро!

Старшина роты принёс нам в стенгазету «Письмо в редакцию».

О внутреннем порядке.

1) В 3 взводе до сих пор нет порядка в палатках, в столах, а также и под нарами валяются личные вещи, и в том числе

грязные портянки, но не только в столах и под нарами, а даже и под матрасами.

2) В столовой порядка тоже нет, шатаются одиночками по столовой, встают из-за столов без команды. Например, Ермаков, Фогельсон.

3) Освобождённые, которые освобождены врачом, их освобождают от полевых занятий, они вместо наведения внутреннего порядка шатаются по лагерю, их ищут старшина роты и дежурный по часу и по два, одни говорят, пошли туда, другие в другую сторону, в неизвестном направлении.

Постный день. Ни рыба, ни мясо.

ДИЗЕНТЕРИЯ!

11 августа

Лагерь пропах карболкой. Её сладкий запах нас преследует. Увезли Олега Кокорина, потом Любченко, тоже Олега.

Каждое утро в 6.40, когда мы, хмурые и заспанные, ищем свои гимнастёрки, радио с методичностью инквизиции передаёт одну и ту же песню: «Синие, жёлтые, чёрные...»

Бесит хуже комаров! И надо же: взрослые дяденьки-тётенки, когда нормальные люди ещё спят, – объявляют радостными голосами:

– Запомните песню!

И пускают всё тот же тошнотворный мотивчик.

Боюсь, что если они не сменят пластинку, эта песня будет вызывать у меня позывы.

Весь день с Лёнькой рисовали стенгазету. Работали в маленьком бараке, разделённом перегородкой на две половины, из которых одна служит жильём местному художнику и заперта на замок, а другая служит ему же мастерской и запирается при помощи гвоздя, которым мы каждый вечер заколачиваем дверь, чтобы утром открыть её простым рывком.

Вчера, едва мы легли после отбоя, была объявлена тревога. Десять минут беготни, ругани, и возни в тесном ружейном парке, в тёмных палатках, и вот мы в строю.

Перекличка.

– В первом взводе все налицо.

– В третьем – все.

– Во втором нет Бехтерева, Ратгауза и Дольберга.

Злынский с силой сплёвывает; меланхоличный Голованов длинно и подробно матерится.

Дольберг объявился после команды «Разойтись». Голованов крикнул ему:

- Где вы были во время тревоги?
- В уборной, – скрипуче ответил тот.

Голованов подошёл вплотную. Было тихо. Секунд тридцать. Потом Голованов сказал:

– Ну, смотри...

И ушёл.

Взвод сбежался. Слышались крики:

- Везде Дольберг гадит!
- Злынскому влетит: опять наш взвод худший!
- Да где они были?
- Что вы пристали ко мне?! Чёрт вас всех побери!!!
- Разойтись! Отбой! – крикнул кто-то из сержантов. – И чтоб во время тревоги больше не какать.

ПУПОВ

Появилось новое лицо – майор Пупов. Тема занятия: оборона у реки.

Полковник Группый в смятении отступил. В центр внимания выступил майор Пупов: мужчина с красным лицом и мясистым носом. Первое впечатление: актёр. Второе: гусак.

Майор вводит нас в обстановку, говорит громко и чётко, слушая свой голос, замирая в живописных позах полководца, глаза его при этом бегают по нашим лицам, фиксируя произведённое впечатление.

Из шести часов, отведённых на рытье траншеи, четыре часа мы прошагали при полной выкладке вдоль линии обороны, слушая декламацию Пупова:

– Я студентов знаю о-очень хорошо! Я, например, точно знаю сейчас, о чём вы думаете!

Застывает в позе.

– Вы солдату лишнего не говорите! Солдат всё равно не поймет! Вы ему скажете: «Правый край обороны». Точнее «правая граница». Или уж совсем по-научному: «правый фланг».

Опять поза – наполеоновская, руки скрещены.

– Солдат вас мысленно пошлёт...

Злынский молча сплёвывает сквозь зубы.

Переходим на сто метров влево.

– Я студентов насквозь вижу...

Так и ходим туда-сюда: передвижной театр. Четыре часа. И ничего не скажешь: не перерабатываем!

Может, лучше уж копать?

Когда мы вместо работы сачкуем с Группым, – так это оттого, что Группый добродушен и ленив. Когда мы четыре часа сачкуем с Пуповым, так это только оттого, что ему доставляет удовольствие перед нами выступать.

Потом он приступил к опросу.

– Морозов! – вызвал он, не заглядывая в список, – мы удивились его осведомленности.

Саша Морозов выслушал вопрос и что-то переспросил. Майор сказал:

– В строй! И не спорьте! С майором Пуповым спорить бесполезно. Андреев!

– Нет такого!

Легкая заминка. Группый осторожно заметил:

– Такого нет у нас в списке.

Осведомлённость оказалась авантюрой.

– Иванов – есть? – возгласил Пупов после паузы.

– Есть! – я выступил вперёд.

– Подойдите ко мне в перерыве!

– Слушаюсь!

– Перерыв! – объявил Пупов.

Подхожу:

– По вашему приказанию, рядовой Иванов!

– Р-рядовой! Пач-чему носите фотоаппарат?

Мысленно перебираю варианты ответа: «Так точно», «Никак нет», «Слушаюсь» и «Виноват». Решаюсь выйти за рамки. Держась за фотоаппарат, – отчеканиваю:

– Чтобы его не украли, товарищ майор!

Пупов посмотрел на меня отеческим взглядом, с каким Наполеон драл уши генералам. Потом спросил:

– С какого курса?

– С четвёртого, товарищ майор!

– А всего – пять?

– Так точно, товарищ майор!

Вокруг нас – кольцо зрителей.

– Значит, один год осталось?

– Так точно, год, товарищ майор!

Взгляд Наполеона. Смешки кругом.

– А с какого факультета?

– С филологического, товарищ майор!

– С как... кого? – переспросил он, и я вдруг подумал, что он пьян.

Наступило молчание: Пупов, видимо, набирал высоту. Я решил не ждать удара:

– Разрешите идти, товарищ майор?

– Да, – вырвалось у него, кажется, против воли.

– Слушаюсь! – рявкнул я, повернулся, шаркнул кирзой и потопал прочь.

Отойдя, почти налетел на блаженно улыбавшегося Группого и только тогда вышел из роли.

Рота стоит на боковой линейке, готовая идти в столовую.

– Рота, нале-е... – обиженным голосом начинает Курвин.

– Стой! – ротный Рогаткин останавливает старшину и рысью пускается вдоль строя. Мы поворачиваем головы: вдаль, за курилкой, виднеется круглая спина и толстый зад: генерал Репликов читает стенгазету.

Подбежав к нему сзади, Рогаткин берёт под козырёк и гаркает:

– Товарищ генерал!!

Репликов аж присел от неожиданности.

– Пер-рвая рота построена на обед!!

Генерал понял, улыбнулся, выставил живот и протянул руку. Рукопожатие состоялось. Не сказав ни слова, генерал вновь повернулся к газете. Ротный сделал поворот напра-во! – крикнул оттуда:

– Рота, шагом – марш!!

Пыль взметнулась.

ОПЯТЬ УЧЕНИЯ

12 августа

С вечера мы освоили окопчик, отведённый нам перед рекой, потом сходили в лагерь на ужин, причём впервые за эти 12 дней сходили налегке, оставив сбрую в окопе; обычно её не заставляют таскать, даже если отлучаешься по малой служебной надобности.

В 21.00 мы вернулись в окопчик, устроились там и стали ждать. Стемнело. Атака противника назначена на 24.00. Вместо этого в атаку пошли комары. Мы натянули пилотки на уши и стали похожи на фрицев, даже не узнаём друг друга. Там, где из-под пилотки торчат ноздри, – это Лёнька, там, где торчат очки, – Лёшка.

22.01. Я – слухач. Выдвинулся вперед метров на 30. Слышал всплески: противник форсировал реку. Засёк одиночную фигуру в шинели и скрытно подполз сзади. Фигура оказалась

солдатом, справлявшим нужду. Справив, вернулась в наш окоп, не заметив меня.

22.30. Наблюдатель Ермаков, исполняющий обязанности комода, крикнул в темноту:

– Стой, кто идёт?

– Свои, – ответили басом.

– Кто «свои»?! А ну, давай сюда!

Сидевший рядом Ратгауз подумал, что это вернулся управлявшийся Шарапов, и тоненько пропел:

– Петюнчик!

«Петюнчик» подошёл ближе. Ермаков всмотрелся и вдруг вскочил, как ошпаренный:

– Товарищ генерал!! Второе отделение к обороне готово!!!

Ратгауз забился в конвульсиях. Генерал Репликов сделал успокаивающий жест и прошёл дальше.

23.30. От майора Пупова получен приказ: на полтора часа все выключаются из обстановки и спят до 0.30. Противник тоже выключается и спит. В связи с чем атака его отложена на 2.00. Мы весело укладываемся. Кто-то философски спрашивает:

– Как всё это называется?

Лёнька философски отвечает:

– Вооруженный онанизм.

24.01. Едва заснули, – «Па-адъём!!» Получено новое донесение: полковник Группый отменил приказ майора Пупова и сказал, что война есть война. Атака противника начнётся немедленно. Матюгаемся.

1.50. Атаки нет. Сон одолевает. Гады: нарочно дали уснуть и подняли.

2.30. Атака, наконец, состоялась. На нас с криком «ура» побежали юрфаковцы, но окопа не заметили и проскочили правее. Сначала мы палили в сторону реки, а потом ржали в сторону атакующих. Сержанты забегали по лесу, собирая повзводно юрфакофцев и филфакофцев, то есть отделяя атакующих от атакованных. Я слышал, как меня зовёт Артур, но пойти не мог, потому что прямо надо мной стоял Группый и шипел:

– Чишшш! Не разговаривать! Вас фиксируют! Ай-ай-ай!..

Наконец, собрались в лесочке. Идём к тактическому полю.

4.20. Варшамов доложил Группому, что Пупов приказал вести взвод по правой дороге и будет нас встречать. Группый вдруг подскочил к Варшамову и тявкнул ему в лицо:

– Какой такой Пуп!? Слева пойдём, леском! Что такой за Пуп! Ай-ай!

Варшамов повторил по складам:

– Майор Пупов сказал, что ждёт нас на пра-вой дороге.

Группый дрыгнул ногой:

– За мной шагом марш!

И пошёл вперёд. Варшамов пожал плечами и двинулся за ним, и следом потянулся зевающий взвод. Дошли до развилка без единого слова. Группый, не оглядываясь, пошёл налево, Варшамов, выразительно взглянув на нас, свернул направо. Взвод без звука пошёл за Варшамовым. И тут случилось невероятное: увидев, куда идёт взвод, Группый воровато перешмыгнул на правую дорогу и как ни в чём не бывало возглавил марш. Мы ржали в открытую.

5.30. Нас положили спать вповалку за второй траншеей. Метрах в 50 спинами к нам сидят Пупов и Группый. Вокруг нас, завернувшись в шинели, спят какие-то солдаты. Убей меня бог, но это юрфаковцы, то есть наши противники.

6.1. Я стоял дневальным над храпящими телами. Впереди далеко мелькали фигуры: противник занимал позиции. Не знаю, то ли эти маленькие фигурки подействовали на майора Пупова, то ли водка, которой он хлебнул, то ли моча ему в голову ударила, только он вдруг вскочил, замахал руками и заорал:

– Кам-мандир взвода!!

Заспанный Злынский высунулся из-под шинели.

– Ат-таковать их! – смачно произнес Пупов и простёр руку.

– Кого? – хрипло переспросил Злынский.

– Как кого?! – наддал Пупов трагическим голосом. – Противника! Поднимите человек пять и – вперёд! Нет, десять! – Пупов побежал, спотыкаясь о валявшиеся вокруг противогазы. – Атаковать! Бегом! Бегом марш, ну?! Дневальный! Где дневальный? В ружьё!! Тревога!! Тревога!!!

– Тревога! – крикнул я.

Ребята задвигались, натягивая сбрую на красные, опухшие ото сна лица, не понимая, в чём дело. Пупов стоял на холмике и вопил:

– Всем!! Оружие взять! И шинели! Отставить! Не брать шинели! Бегом!

Ребята, заплетаясь ногами, побежали в направлении, указанном Пуповым. Он не унимался:

– Куда без шинели?! Где командир взвода?! А вы что? Опоздали! Закопались! Эх, вы! Студенты! Ложись! Вы все убиты!

Он махнул тем, кто не успел побежать в атаку, и продолжал копаться в шмотках:

– Ложись! Все в гробу!

Опоздавшие – треть взвода – послушно попадали в траву в надежде, что им дадут доспать. Пупов вдруг умолк, рухнул в свой окопчик и исчез. Из окопчика виднелась только склонённая набок голова и блаженная улыбка полковника Групого.

6.30. Матюгаясь и сопя, вернулись те, кто бегал в атаку: никакого противника они не нашли: в окопе противостоящей стороны сидел юрфаковский полковник, который, увидя атакующих, обложил их за «растрату сил» и приказал идти спать. Ребята, ругаясь, легли. Когда всё стихло, ко мне подошел Групый:

– Ну, как товарищ дневальный... забыл фамилию?

– Иванов, товарищ полковник!

– Ну, как, я спрашиваю?

Я подумал и сказал:

– Не могу знать!

– Я говорю: как настроение, товарищ Иванов?

– Плохое, товарищ полковник. Зря людей гоняли, устали люди.

Светлые глаза полковника расплылись в улыбке; он сказал доверительно:

– Ай-ай-ай! Унывать не надо! А то начальство ходит, фиксирует. Надо держаться бодро и говорить ясным, зычным голосом! Так, а? Замполит майор Одинокый придёт, спросит, как настроение? Что ему ответим?

– Скажем, что настроение бодрое, товарищ полковник!

– Правильно! Хорошо, курсант. забыл фамилию! Продолжайте!

И пошёл в окопчик к Пупову.

Солнышко показалось.

Ребята спят.

9.1. Завтрак. Ходили к баку за километр, пока вернулись, всё остыло.

Злы, как чёрты. Зачем было возвращаться в окопы, когда проще было поесть там же, у бака? Зачем было тащить туда-сюда противогазы, скатки, лопаты и карабины?

10.1. Прибыл замполит майор Одинокый. Подошёл, спросил тихим голосом:

– Устали, ребятки? Трудно, да? Сильно гоняли вас?

– Трудно, товарищ замполит! – радостно взвыли мы. – Сильно гоняли!

Одинокый сказал:

– Да-а-а...

Потом прибавил шёпотом:

– Но критиковать нельзя. Нельзя, ребята, критиковать.

Учение кончено. Копали, лежали, ходили, бежали, копали, ходили, бежали, лежали.

Одно и то же, что и есть самое утомительное. Можно махать вилами 10 часов в колхозной бригаде, можно тащить 35 килограммов в турпоходе и быть счастливым. Но нельзя быть не только счастливым, но даже и спокойным, когда каждую минуту тебе могут крикнуть: «Бегом!», когда полковник кладёт спать, а майор через десять минут подымает, когда один командует вправо, а другой влево, когда ни секунды не бываешь предоставлен себе, – нет, здесь нельзя быть счастливым.

Злынский получил письмо из дому. Сидит у нас в палатке, читает. Потом спрятал письмо и сказал глухим голосом:

– Вот вы через две недели отчалите отсюда. Костюмы надеваете, галстуки. Не узнаешь вас тогда. И вы никого не узнаете. К вам тогда не подъедешь. С девушками пойдёте. Спать будете с ними. Или без них – досыта. А я что? Вот вы говорите: я строг. А я, может, ещё не знаю, как к девушке подойти. Меня, может, завтра какой-нибудь Пупов отпуска лишит.

И посмотрел узкими сухими глазами. Статный, поджарый, быстрый.

Девушек не знает? Так я ему и поверил.

Не дури, брат!

Лёська, милый, здравствуй!

Как идёт твоя солдатская жизнь? Если тебе и доведётся когда-нибудь ещё кричать: «...дцатому дню лагерных сборов...», то это будет уже в офицерской палатке. Это хорошо, что ты скоро разделаешься с военной наукой, память о ней будет жить в облике подполковника Пуговкина, он же Хапуговкин (отец наш! О!). Большого ты вряд ли пожелаешь.

Письмо от Вадима

Я недавно получил письмо от папы, он, кажется, собрался к тебе.

Лёська, тебе немного грустно: грустно всё: и то, что проходит, и то, что ждёт впереди, и то, что всегда с тобой, – твои мысли.

Дневник карпатский прочёл с удовольствием; было просто интересно; я совсем отвык от художественной литературы. Смеялся и думал: там всё! Открытий для себя я, конечно, не сделал, но ты часто задеваешь одну и ту же струну.

В этом нет ничего необычного и сузубо индивидуального, исключительного; через это в какой-то форме проходят все, но тебе больнее.

Классе в девятом ты стал вести дневник, у тебя появилась потребность избавляться от некоторых мыслей и наблюдений. Тогда эта причина была ещё утробной.

Ты по природе своей очень отзывчивый и добрый, и был бы счастлив, если бы тебе разрешили всю жизнь делать хорошо и правильно и ни о чём больше не заботиться. Но нельзя делать хорошо и правильно и ни о чём не заботиться, пока ещё нельзя, ты этого когда-то не понимал, и поэтому тебе было больнее, чем другим.

Как-то справляли чей-то день рождения, ты был пьян (сам так захотел) и плакал (этого ты тоже хотел: когда есть невысказанная обида, нам жалко её немоту), плакал, как ребёнок, который узнал и некоторое время сдерживался, никому не говорил, что у него теперь сломана игрушка.

Есть люди и есть мысли. И есть дела, которые иногда лучше мыслей, потому что мысли – не в нашей власти. Не всё так, как хочется. И оттого, что это стало одной из пошлостей жизни, – больно. Больно от несоответствия дел, которых ты не можешь не делать честно, и мыслей, которые всё время требуют оправдания.

От этого ты не избавишься, это ты чувствуешь. Но, Лёська, не надо выдумывать лишнего, не надо искать себе трудностей. У тебя много «честных глупостей». Ты хочешь жить и можешь жить полно. Что тебе мешает?

Ты, кажется, боишься сбиться с большого пути. Поэтому ты начинаешь анализировать, то есть лезешь к себе в анальное отверстие (если хочешь, называй его «аннальным») и извлекаешь оттуда отходы мыслей. Ты – дурной умник, выдумки твои – это пицца самолюбию, ты просто сам себе устраиваешь театр, и от этого тебе легче.

А твой «славный зверёнок»? Найди мне человека, который в твоём возрасте с этим не соприкасается. Но ты же, действительно, ломающийся романтик. Кто бы так сам себе берёдил душу, как ты? Я не догадался, кто это, но в любых отношениях, пока они есть, ты получишь столько радости, сколько сам заслужишь. В основном это так, как говорил где-то Горький: всегда радостней отдать, чем взять. Ты ли этого не знаешь...

Увидеть плохое там, где его нет, – преступление. Так какого чёрта ты сам в себе и для себя открываешь затруднения и

нагоняешь тучи! Твоя «мудрость» не стоит выеденного яйца! Когда ты влюбишься, тебе снова станет семнадцать, и ты будешь натекать на высотные дома. И ты, наверно, скоро влюбишься, и не делай себе больно там, где можно не делать.

Лёська, всё будет хорошо, порукой – мой стаж; Ирина может рассказать, как нам бывало трудно друг от друга.

Скоро у тебя распределение и диплом.

Вот моё мнение.

Для меня Свердловск имеет определенный производственный смысл: Уралмаш – это школа. Для тебя – отвлеченный. Как база для самоосмысливания и общего роста – объективно – не больше, чем Москва. Субъективно – для твоих закоснелых воззрений – тебе будет казаться, что здесь полезнее, но такие искусственные «возбудители таланта», как злой (злободневный) опыт – самообольщение.

А аспирантура – это самый прямой путь к созданию условий для научной работы. Никто не выгадает (и наука тоже), если ты лбом пробьёшь свою диссертацию через десять лет из провинции.

Крепко целую, не дури, пиши. Вадим.

ПОЛОВИНА ВТОРАЯ. ДУДКИ

– Флачками и дудочками!

(Генерал Ревизов)

– Оставить как прозёванное.

(Рядовой Козлов).

12 августа

3 часа дня. После учений.

Солдату должно быть удобно в форме.

Узкий тесный воротник, стягивающий шею (расстегнуть можно только тайком, нарушая устав). Идиотски тесные штаны, которые трещат в коленях, когда приседаешь. Тяжёлые сапоги вместо элементарных ботинок. Пилотка, которая не защищает ни от холода, ни от солнца. Можно подумать, что для солдата намеренно выдумывали самую неудобную, самую смешную форму.

Зачем?

Не проще ли...

Но скажи вслух – позеленеют, переспросят; едва попробуешь объяснить, заорут: «Молчать!», посадят на губу, станут злиться, но продолжат носить узкий, стягивающий горло воротник.

Впрочем, я и не ищу логики.

Второй роте привезли в лес обед. Наша, первая рота, ходила вокруг, облизываясь; троим из наших удалось обманом получить по тарелке картофеля. Есть дали только вечером, сказали: «Обед».

Лица из 1952

Спрашиваем у девушки, разносящей блюда:

– Где ужин?

– А вот он.

– Это обед.

– Обед был утром, вы его съели.

– А где завтрак?

– Что вы кричите?! Ваше дело – есть, что дают! – махнув подносом, девушка убегает.

Коса на камень: вызываем старшину роты. Курвин, поджав губы, глядит в сторону.

– Старшина, где наш ужин?

– Вот он! Чего вы?! – старшина поднимает на нас ненавидящие глаза.

– Нам сказали, что это обед. А где наш ужин? Почему когда вторая рота обедала, нам ничего не дали, а теперь дают обед вместо ужина?

Старшина кричит:

– А-атставить разговоры!

Артур спокойно повторяет:

– Куда девался наш ужин? Курвин смотрит на нас исподлобья. Мы ждём. Он говорит обиженным голосом:

– Я не знаю. Я сейчас вызову дежурного по столовой, – И уходит.

Дежурный по столовой, обняв тёплыми ладонями за шею тех, до кого сумел дотянуться, объясняет, что по приказу начальства ужин вогнан в нас в виде дополнительных кусков мяса в ходе завтрака и обеда.

Вот и всё. И никто – ни слова.

Солдат должен понимать, что к чему, и терпеть, что угодно. Мы весь день ходили полуголодные. Мы копали ячейки и засыпали их землёй, потом шли 5 км форсированным маршем, а входя в лагерь – лихо запели. Только потому, что петь scomандовал Злынский.

...У палатки двое. Олег Федорченко смотрит влюблёнными глазами на Гриню Ратгауза и спрашивает, как спрашивают балованного малыша о потерянном мячике:

– Товарищ рядовой, ну, почему вы такой растрёпа?

Ратгауз, хлопая себя по бёдрам и шумно вздыхая, допытывается:

– А что я такое потерял? Нет, вы скажите, что именно я потерял?

А Олег улыбается до самых ушей.

Сегодня в штатских брючках появился гвардии опоздавший Леонид Маланчев.

...Завтра вечером наша рота даёт концерт. Сегодня журфаковец Гришка Вершубский снял с занятий два десятка человек, построил в колонну по два и вывел за пределы лагеря. Едва вышли за пределы видимости офицерских палаток, прозвучала команда:

– Пояса снять, воротнички и ширинки расстегнуть!

Мы свернули к озеру. Шарапов на ходу подзубривал роль. Нагруженный гитарой Дольберг шёл, согнувшись и выписывая зигзаги.

Первую неделю – гоняют все.

Вторую неделю гоняют полковники, а сержанты тайком от полковников дают кемарить и сачковать.

Третью неделю сержанты дают тайком от полковников, а полковники тайком от сержантов.

Четвёртую неделю кемарят все: сержанты, полковники и студенты.

Сегодня – середина срока.

Завтра начнём считать уже не прошедшие, а оставшиеся дни.

Третья неделя увенчается походом на 25 км. Сержанты говорят, что после похода сборы будут продолжаться чисто формально. Последние дни заполнятся шатанием по территории, кражей и перепрятыванием шомполов и ружьёв, бесконечными провокационными слухами об отъезде. Потом нас не будут отпускать, потому что мы не съели положенных двух обедов и трёх ужинов. Потом мы это съедим, но не будет эшелона.

Потом эшелон придёт...

Лёнька:

– Штаны у нас – цвета хаки, а усы – цвета каки.

14 августа, воскресенье.

Занятий нет. Все спят, укрывшись по палаткам. Надо успеть выспаться на всю неделю, чтобы по крайней мере знать, что в воскресенье ты не упустил своего и спал, – это нужно для нервов.

Лица из 1954

Палатка – ненадёжное место. Вдруг появляются на пороге сапоги; лица не видно, не видно и погон – только сапоги: офицерские...

Ждём в тоске: может, уйдёт?

Нет, всовывается. Это ротный:

– Спите?

– Встать! – заплетающимся языком тот, кто первым сумел продрать глаза. В койках начинают ворочаться тела, поднимаются красные от сна лица, раскрываются рты для матюгов. но – ни звука! – на пороге офицер, лучше не связываться.

– Ладно, спите! – чеканит ротный. Потом с улыбкой Кмита из «Чапаева» добавляет: – И чтоб убрать в палатке! Бар-дак, понимаешь! Шинелями накрылись!

Скомпенсировав таким образом свою мягкотелость, ротный вылезает из палатки. Офицерские сапоги ещё какое-то время торчат на пороге, – видимо, ротный думает, куда пойти дальше, – потом исчезают.

В палатке сначала глухо и тихо, а потом громче и яснее начинается Чёртыханье. Натягивая шинели на уши, мы стараемся вновь заснуть – надо выспаться на всю неделю.

Да, палатка – ненадёжное дело.

Солдат знает, что делать. Он одевается по всей форме, берёт на плечо скатку и тихо уходит из лагеря – как бы по делу. Он совершает противозаконный акт: покидает расположение части.

Он уходит в лес.

И там, в лесу, где на 250 метров в окружности нет такого существа, которое может вырасти перед тобой и что-нибудь приказать, – солдат заходит в самые густые заросли. И, спрятавшись от глаз, – снимает ремень.

Он снимает ремень, хотя уже привык носить его и не тяготеет им. Он стягивает сапоги, сматывает портянки и остается босиком. Ему колко ходить по сучьям и корням, но он снимает сапоги.

На ветру довольно свежо, – и всё-таки солдат скидывает с себя гимнастёрку, а потом сдирает узкие, тесные в коленях штаны, – хотя комары мгновенно атакуют его ноги, а мухи жужжат вокруг головы.

И даже если солнце печёт ему голову, – солдат снимает пилотку.

Он стоит голый над своей амуницией – белый человек с коричневой от загара шеей, – стоит, и всё.

Потом он спускается к ручью. Вода студеная, и ветерок холодный, – и все же солдат лезет в воду. Он моется в ручье. Он ополаскивает руки, грудь, пригоршнями льёт воду на голову. Потому что неделю он мылся по приказу в команде, а теперь моется сам.

Потом он вытирается и, завернувшись в шинель, заваливается спать. Ему не хочется, ему не спится, – и все же он лежит, закрыв глаза, он блаженствует, потому что всю неделю он засыпал, готовый к тому, что его поднимут через минуту или через три часа, или совсем не поднимут, – а сейчас на 250 метров в окружности нет такого существа, которое может найти его, и раздвинуть кусты, и крикнуть ему:

– Подъём!

Солдат спит.

Он высыпается на всю неделю, чтобы по крайней мере знать, что в воскресенье он спал, – это нужно для нервов.

Ратгауз чистит пуговицы на гимнастёрке и приговаривает:

– Не понимаю, почему из кармана моей гимнастёрки торчит чужое письмо.

А адресат письма (и хозяин гимнастёрки) глядит из угла лукаво и благодарно.

В музкоманде училища – два сына полка лет по 14, а есть и совсем маленький пацанёнок – внук полка – с папироской в зубах.

Старшина второй роты – полная противоположность нашему Курвину Высокий худой брюнет лет сорока с «вечно улыбающимися» морщинками у острых чёрных глаз, – он чем-то очень симпатичен мне. От своих ребят буквально не отходит; в столовой курсирует между рядов, меняет ложки и кружки, достаёт и просит добавки, следит, чтоб сажались за столы и вставляли только все вместе, по команде. Ревниво требует от своей роты и лучших песен, и образцового порядка, – сам же вкладывает в это дело «наибольший моральный капитал, почему и опека его не кажется деспотичной, и его любят. Длинная фигура старшины всегда маячит там, где вторая рота. Он напоминает мне дядьку из дворянской семьи, и я мысленно называю его, как велел Пушкин, Савельичем.

Наш же Курвин появляется в роте только два-три раза в день, когда это необходимо. Маленький, щуплый, с плаксивым выражением лица, с обиженными интонациями, которые у него

слышны даже тогда, когда он отдаёт приказы, – он вызывает отвращение, перемешанное с жалостью.

Однажды мне пришлось идти с ним вдвоём от столовой до склада. Потом он вдруг сказал:

– Моя бы воля – я вас всех оставил бы ещё на месяц здесь.

Обижать его не хотелось. Всё же я сказал:

– У нас и дома дела найдутся.

До самого склада мы не сказали ни слова.

На обратном пути, оглядев меня, он бросил тоном упрёка:

– Застегните воротничок.

Я улыбнулся и не застегнул.

Сегодня – воскресенье. Курвин вышел в мундире и расхаживает между палаток. Стало его ещё жальче. Для нас здесь воскресенье – быстро пролетающий день, не более. Для него это нечто вроде праздника, некое удовольствие жизни. И он надевает положенный ему по службе мундир, цепляет начищенный асидолом значок ГТО и ходит возле тех же самых серых палаток, возле которых служит всю неделю, – маленький сержантик сверхсрочной службы, у которого ничего в жизни нет, кроме этих палаток и ежедневного распорядка.

Эх...

15 августа

Взвод строится на чистку оружия, а мы лежим.

Мы, пятеро дневальных, лежим в ожидании, когда за нами зайдёт новый дежурный по роте и поведёт нас на развод.

Заходит – эдакий улыбающийся мальчишечка:

– Что ж, ребята. вставайте, пожалуй. Вот вам устав – читайте. Статья сто двадцать третья.

Дежурный смущается, словно не знает, как ему вести себя с этими взрослыми студентами. Он то улыбается не к месту, то серьёзнеет без повода, то шутит невпопад.

Это – Варшамов!

Его словно подменили. Куда девался злобный человек, который десять дней назад хрипло кричал Лёньке:

– Уход в уборную без моего разрешения есть дезертирство! – а Лёнька, стоя «смирно» и раздувая ноздри, зло глядел в переносье этому поносному мальчику с повязкой дежурного на рукаве.

И вот прошло десять дней – прежнего Варшамова нет. А этот – вскочил в палатку за пять минут до развода, взмыленный и раскрасневшийся:

– Успеем? А?

– Чего это ты такой? – поинтересовался Сашка Палшков.

– Да корешу помог три тысячи метров сдать. Контролёры по дистанции часто стояли... Но сдал, – добавляет доверительно, как своим.

Мы чешем все вместе к штабу училища и влетаем в строй развода, когда уже звучит команда:

– Равняйся!

Здоровенные курсанты первой шеренги, ставя в свой ряд маленького Варшамова, треплют его по плечам, заглядывают в лицо, спрашивая, не случилось ли чего, а один снимает пылинку с его фуражки.

– Смир-рно!

Мы вытягиваемся и застываем с блаженными мордами.

2000. Видимо, Варшамова зачислили в студенты Полиграффа.

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ РЕВИЗИЯ

16 августа. Отбой

Одна за другой палатки вздрогнули от прощального крика пятнадцатому дню лагерной жизни, и я остался в одиночестве на площадке дневального по роте.

Покурил.

Посидел.

Прошёлся по линейке, прислушиваясь к разговорам в палатках.

Четвёртое отделение первого взвода обсуждает художественные достоинства Дрезденской галереи. Слышится сладкий голос Распевина.

Второе отделение. Симаков и Моев твёрдыми голосами требуют у комода, чтобы завтра тот выдал им наставления. Симаков и Моев хотят овладевать.

Третье отделение. Володя Герасимов подробно выспрашивает у комода, сколько километров нам предстоит пройти послезавтра в походе, когда будет обед, когда ужин, когда отбой и ночлег. Володя Герасимов не хочет овладевать.

Студенческая рота стихает.

Через линейку – рота курсантская. Бывшие суворовцы и те, что поступили в училище с гражданки. Эти последние не без злости зовут первых кадетами. Суворовцы гражданских – не без презрения: албанцами. Здесь не спят. Слышны громкие голоса.

О чём говорят, понять трудно: сплошной мат. Наконец, я улавливаю, что сговариваются объявить бойкот какому-то сволочному офицеру:

– Да что ты, мать-мать-мать, двадцать пять рыл, мать-мать-мать, сбить хочешь, всегда же найдётся, мать-мать-мать, курва, которая продаст!

Двое дневальных курсантской роты стоят у палатки рядом со мной и слушают, блаженно раскрыв рты.

Минут через пятнадцать спора и мата в палатке закопошились, и на порог выскочила голая скрюченная фигура. Несколько минут мы молча созерцали друг друга. Затем фигура тихо произнесла:

– Мать-мать-мать, – и шмыгнула в темноту.

В палатке продолжали орать. Через минуту мимо нас протрусил в палатку голый силуэт, и в палатке раздалось:

– Мать-мать-мать, там слушают!!

Наступила пауза, прерванная истошным возгласом:

– Ну, мать-мать-мать, завтра всех продадут, мать-мать-мать!!!

Без звука мы разбежались от палатки в разные стороны.

Ночь.

Тихо.

В 2.30 меня сменяет Лёнька.

Л. Козлов:

2.30. В голове – бесформенные куски какого-то странного сна. Вылезаю на линейку. Холодно. У палатки – поёживающийся улыбающийся Палшков. На небе – звёзды. Небо ещё почти не посветлело: август. И холодно, Чёрт его возьми! Лев, оказывается, собрался меня тузить, чтобы разбудить, и удивлён, что я так быстро встал. Но спать охота!!

Начинаю ходить взад и вперед. На часах три. Одна седьмая смены прошла...

...Вчера вечером Варшамов сказал:

– На нас ложится особая задача. Приезжает генерал Ревизов. Нужно встретить его во всеоружии.

Придётся встретить.

Сажусь переключать цифры на клумбе-календаре: надо из «15» сделать «16». Кто-то из журфаковцев, дневаливших до меня, излил на этот календарь всеобщие чувства и рядом с текущими цифрами выложил белыми камешками: «28»: день отъезда! Я этих цифр не трогаю.

Четыре ноль-ноль. Выходит заспанный Варшамов и вручает мне грабли. Я чищу линейку и швыряю в кусты окурки.

Половина пятого. Вдали попискивает какая-то птичка. И тотчас на десятках сосен начинается сухой дробный стук. Это – дятлы.

Без четверти шесть. Я стою у ружейного парка. В дальнем конце лагеря вдруг появляется синяя «Победа». Одновременно сосны оглашает дикий крик:

– Дежурные – на линию!!

– Козлов!! Козлов!!! – это кричит Варшамов. – Будите сержантов по палаткам!

Подбегая к первой палатке, я слышу зычно-густое:

– Тав-варищ генерал!.. Докладывает...

Я бужу всех подряд: Федорченко, Голованов, Матеуш продирают глаза. Через две минуты они стоят на линейке кто в полной форме, кто в майке, и выслушивают наставления комроты. В репродукторе слышится первый хрип, и дежурный, не дождавшись боя курантов, объявляет:

– Первая рота! Подъем!!

Истошно, на две октавы выше обычного, дудит горн.

Генерал Ревизов начинает инспектировать лагерь.

...Меня разбудили отрывистые крики. Никто ещё не вылез из палатки, но ни один человек в роте уже не спал: в 5.45 на передней линейке был обнаружен генерал Ревизов. Сонных, полуодетых сержантов срочно строили за палатками и инструктировали, всё гудело и дрожало, и все: от ротного до взводного – были здесь.

Первым не выдержал дежурный: он проорал подъем раньше времени.

На зарядку было приказано вывести даже больных: в строю можно было увидеть и забинтованного Бишева, и бухающего кашлем Байгушева, и вихляющегося радикулитным телом Дольберга.

Палатки опустели – как водой смыло. Поэтому когда Лёнька подал стандартную команду:

– Уборщики! Поднять полы палаток! – это было произнесено с мефистофельской иронией: ни одного уборщика и близко не было, все они махали руками на физзарядке.

Я как дневальный, то есть лицо неприкосновенное, надел полную форму и, с особого разрешения Варшамова, в одиночку направился в уборную.

На стадионе творилось нечто небывалое: сюда были все роты, и они различались цветом пятен на зелёном поле: бронзовые пятна курсантских взводов и нежно-белые – студенческих.

(Грязно-белые! – Г. Ратгауз).

И играл оркестр! Да!

Это второй раз. Первый раз оркестр играл во время парада после принятия присяги, и вот теперь – утром, во время физзарядки, в день, когда генерал Ревизов знакомится с повседневной жизнью лагеря.

Я направился в роту, вспоминая, что под Москвой, в Петрове Дальнем, есть показательный колхоз – для показа иностранцам. Кому надо, те знают, что колхоз – на госдотации. Что хотят показать?

Мысли мои были прерваны самым неожиданным образом. Я поднял голову и чуть не лишился чувств от страха: в десяти метрах от меня, среди толпы погон и просветов стоял ласковый генерал Репликов, и самое страшное было то, что этот седой, старый, толстый генерал стоял по стойке смирно, да, да, генерал именно так и стоял!! А перед ним, отставив ногу, стояло нечто ещё более ослепительное, так что от шока я ничего не различил, кроме того, что из-под фуражки торчало что-то чёрное, наверное, усы.

Это и был, как я догадался, грозный генерал Ревизов, перед которым трепетали даже полы палаток.

Мысли мои запрыгали в панике. Козырнуть? А если спросит, кто такой? Почему одет? Почему здесь? Почему один? Нет, лучше убежать, недаром сказано: золотой погон обойди кругом.

И тут я сообразил, что Ревизов и все общество глядят на меня.

Тут я пустился бежать так быстро, словно на меня вот-вот спустят свору собак, и очнулся только, упав на руки Саши Палшкова.

Затем мы с ним приступили к уборке территории. Собирали шишки. Засыпали песочком лужицы у деревьев – следствие вечернего обильного чая и утренних волнений роты. На передней линейке, как раз там, где ходят генералы, мы обнаружили пару стрекоз, сцепившихся в сладострастных позах. За вызов общественной нравственности и свершение на линейке действия, для которого требуется отдельное помещение, мы сожгли нарушителей в курительной комнате.

(Любовь до гроба. А. Коробова. 1956).

Мы закончили уборку и хотели лечь отдыхать в палатке, но Курвин запретил: полы палаток подняты, генерал может уви-

деть лежащие тела. Мы засекали, однако, что в палатке Курвина, стоящей на отшибе, полы опущены, спёрлись туда и завалились спать.

Снаружи слышны были звуки беготни и суеты. Полковники старались увести генералов в их покои. Взводы спешили выйти из зоны лагеря.

Генерал Ревизов продолжал инспектирование.

ДНЕВАЛЬНАЯ НИТЬ

Стою.

Надо мной – солнце. Подо мною – раскалённый песок. Впереди – четыре долгих часа, пока меня сменит Саша Палшков.

Дневальный не имеет права сходить со своего пьедестала.

Лагерь пуст. Взводы на занятиях. Вдали между деревьев мелькают фигурки. Тёмно-зелёные, в пилотках – студенты. Их нечего бояться. Они даже могут принести воды. Светло-зелёные, в фуражках – курсанты. Они чаще всего нейтральны и редко вяжутся с замечаниями. Тёмно-зелёные в фуражках – офицеры. Увидя офицера, надо встать смиренно и стоять так, пока он не исчезнет. Его надо бояться.

Постепенно исчезают и офицеры.

Исчезли.

Никого.

Солнце и песок. Пекло.

Мой пьедестал – 50 на 50. Не разгуляешься. Делаю несколько движений руками. Приседаю.

Из своей палатки высовывается Федорченко и лукаво глядит на меня. Я осторожно схожу с пьедестала на линейку. Шаг. Два шага. Федора молчит. Два шага туда – два обратно. Три шага туда.

Туда, где в пяти шагах распростёрлась тень от дерева.

Четыре шага.

Федора сверкает белозубой улыбкой и подмигивает мене.

Пять шагов! Я в тени. В двух метрах – палатка, на край которой можно присесть. Ещё шаг.

Федора заворачивается спать.

Я сажусь.

Гляди в оба, дневальный! Ты сел! Ты покинул пост. Ты нарушил закон. В оба, в оба гляди! За полкилометра ты должен разглядеть офицера и пулей взлететь на своё место, если офицер идёт сюда.

Но пусто в лагере.

Метрах в семидесяти – грибок второй роты. Дневальный тоже вышел из-под грибка и осторожно движется к ближайшей палатке. Я не различаю, кто это. Но я чувствую, что он глядит на меня. Стоит мне подняться, он тоже вскочит и станет смотреть по сторонам: где офицер? И он знает, что точно так же слежу за ним я. Так и сидим мы, два незнакомых человека, связанные одной нитью. И я проникаюсь симпатией к этому человеку, лица которого не могу рассмотреть. Он так же, как и я, стоит один между песком и солнцем.

Художник в душе, солдат в скатке

Варшамов в душе – художник. Он весь загорается, когда говоришь с ним о живописи, о рисунке или даже просто об оформлении стенгазеты. Он украдкой от старшины бегаёт писать натюрморты. Однажды он полчаса рассказывал, какой блик был на георгине в букете.

Варшамов – художник в глубине души и в глубине души – интеллигент. Поэтому «рыкающая» манера и вообще грубая военная «оболочка», столь идущая ладному Злынскому, у Варшамова принимает нарочитые, вымученные и неприятные формы.

Говоря с нами как с подчинёнными, он обращается на вы и очень чётко:

– Иванов, принесите карабин!

Говоря в неофициальной обстановке, как солдат с солдатами, он переходит на ты и матерится не очень ловко, и потому опять-таки неприятно:

– Слушай, ты посматривай, как бы этот чёртов генерал не появился.

Но интересно, что говоря с нами уже как со студентами в человеческой, а не армейской обстановке, на темы искусства – он говорит тихо, гладко и опять переходит на вы.

Пять формулировок

Валерий Симаков:

– Есть детская радиопередача «Волшебное слово». Если будешь употреблять волшебное слово «пожалуйста», все люди станут добры к тебе и помогут. У нашего брата-солдата тоже есть в запасе волшебное слово. В любых ситуациях оно благотворно действует на командиров:

– Айрапетян, один наряд на кухню!

– Слушаюсь!

– Сукневич, сколько раз говорено: в строю не разговаривать!

– Слушаюсь!

– Симаков, опять опоздал на построение!

– Слушаюсь!

Валерка прав: самое опасное это пререкание с начальством. Начальство этого не терпит. Можно поступать по-своему, можно игнорировать приказания, можно ежедневно получать одно и то же замечание, – но не дай господи сказать поперёк хоть слово. Поняв, что ему возражают, начальник придёт в бешенство и будет знать только одно: подчинённый с ним спорит. Плохо будет подчинённому: схватит наряд, выговор, гауптвахту – в зависимости от важности начальства.

Но стоит произнести магическое «Слушаюсь!», и картина мгновенно меняется. Это слово смягчает любое сердце, оставивает любой крик, успокаивает любой гнев. Разъярённый, как бык, начальник превращается в «отца и радетеля».

Самые умные начальники понимают, что «слушаюсь» можно произнести и с иронией. Но даже умные начальники поддаются магии слова.

Постепенно у нас выработался целый комплекс приёмов безопасного обращения с офицерами. Офицер – понятие, для солдата одиозное, это знак опасности. Офицер главнее солдата, он всегда может поступить с солдатом, как с куклой, крикнуть ему: «Молчать!», положить, поднять, повернуть кругом. Поэтому даже тогда, когда офицер пытается отбросить субординацию, то это выглядит игрой, если не провокацией, и умный солдат никогда, ни на миг не должен забывать, что он остается мышью перед кошкой.

Иногда чувство субординации мешает и самому офицеру, если он хочет увидеть в солдате человека. Если к тому же офицер неумён, он оказывается в двойственном, а то и в смешном положении.

Полковник Групный имеет обыкновение в перерывах между занятиями разговаривать с нами «запросто». То есть слушать наши человеческие разговоры. Однажды зашла речь о маршруте марш-броска на 25 км – полковник должен был наметить маршрут.

Кто-то из журфаковцев сказал лукаво:

– Ну, двадцать пять не двадцать пять, а километров пятнадцать пройти бы не мешало.

Федорченко подхватил:

– Выбрать бы пункт километрах в семи: туда и обратно.

Групный сказал по видимости серьёзно:

– Мы учтём зигзаги.

Я включился:

– Лучше пройти семь километров зигзагами, чем двадцать пять по прямой.

Все засмеялись.

Группый посмотрел на меня, часто мигая; видимо, он не сразу уловил тон. Наконец, он нашёлся:

– Я вам сейчас могу сказать: «Молчать».

Улыбаясь ему в лицо, я отрапортовал:

– Слушаюсь.

Он тоже улыбнулся, потом спросил:

– Завтра «Динамо» играет с немцами?

Ну, это уже ближний бой: диалог. А вообще офицера нужно засечь, когда он ещё далеко. И прежде, чем он засечёт тебя, принять меры. Во-первых, застегнуть воротник. Во-вторых, изменить маршрут движения с тем, чтобы обойти офицера стороной.

Если это не удалось, – тогда козырять. Тут уже опасность прямая: у тебя всегда может найтись что-нибудь вроде нечищенных сапог или потускневшей пуговицы, или складки у пояса, или, в конце концов, твоих усов, – чтобы начался разговор.

Если тебе навязали разговор, не выходи за пределы пяти формул: «Виноват», «Так точно», «Никак нет», «Не могу знать» и, конечно, волшебного слова «Слушаюсь!». Однажды я наблюдал такую сценку. Два солдата шли в уборную. Они совсем было уже к ней приблизились, но вдруг остановились в нерешительности: в уборной маячил офицер. Один солдат говорит другому:

– Олег! А в уборной я ему тоже честь должен отдавать?

– Наверное, – меланхолически отвечает тот.

Солдат вздохнул, ослабил ремень и простонал:

– Тогда я лучше пережду его.

МАТ

18 августа

Один тип ночью нагадил в пяти метрах от линейки. Утром он был схвачен и опознан по фамилии на конверте, которым подтерся.

...Уходим в марш-бросок. Группый поднял нас за три часа до выхода; мы продирали глаза, чертыхаясь, не понимая, зачем нас вдрючили так рано; потом сидели и бездельничали.

Пупов будит резко, с налёта, врывается в палатку и орёт. Группый так не может. Он зудит, как муха. Потянет в палатке ближайшего за ногу и начнёт:

– Вставайте, товарищ. забыл фамилию. Ну, подъём – раз-два! Так, а? Ай-ай-ай! Пора вставать.

И идёт к следующей палатке, и там будит кого-то одного, и зудит, зудит.

К вопросу о мате. Ругаемся все. Кроме Саши Морозова. (А я? – *Гр. Патгауз*). Даже Палшков. Мат сделался чем-то вроде третьего сапога.

Однако никто из нас матом не рисуется, и большим срамом считается выругаться не к месту, неумело и неумно. Байгушев, который ругается только так, вызывает отторжение.

Я думаю: почему это: сохранив неприязнь к мату как к самоцели, как к вещи грязной, мы так легко миримся и сживаемся с матом как с атрибутом здешней, лагерной жизни, который мы здесь застали и взяли на вооружение, подобно сапогам или карабину. Мы его здесь взяли, мы его здесь и оставим. Это краска в лагерном колорите, и в этом качестве даже облегчает жизнь.

Помню момент, когда впервые из душных теплушек мы высадились в прохладную влажную ночь. Мы строились в темноте, слушали оркестр, слушали команды сержантов и привыкали. Мы знали, что начинается период неприятный, но неизбежный. И недолгий. И потому никто не жаловался. Но все старались побыстрее огрубеть. Стоя рядом со мной в строю и глядя на мелькающие в сумраке фигуры, Петька Шарапов лапнул ладонью воздух, вздохнул и произнес вдохновенно:

– Во, бля!

Кто-то сочувственно похлопал его по плечу. И тотчас же разжалась заливистая, длинная, на высокой ноте, ругань Сашки Байгушева, который явно не мог найти тона. На него закричали.

И ещё помню. Первый день в лагере. Жара. Пыль. Мы с Лёнкой сидим в классе. Тишина. Приближаются шаги: мимо идёт солдат. Мы молча провожаем его взглядом. Вместе с шуршанием его шагов по пыли до нас долетает бесстрастное ругательство. Может, споткнулся. Может, спина зачесалась. А может, ничего, но просто – лагерь. Мы с Лёнкой переглянулись и расплылись в понимающей улыбке: ну, конечно, лагерь!

Почему это так связано: лагерь и мат? Вообще: служба и мат?

Думаю, это сродни чувству религиозному. Религия есть продукт человеческого бессилия перед внешними препятствиями. Мат есть бесполезное выражение бессилия солдата перед тем, что он не может изменить, это – распорядок, устав, приказ, лич-

ки, погоны... Конечно, это плохо. Лучше бы проявить выдержку и не ругаться. Правильно, товарищ Фёдор Гладков! Но эти тридцать дней у нас – уникальные, они не повторятся. И лучше глядеть правде в глаза.

АЛИГЕР УХОДИТ В ГОРЫ

19 августа

Вчера после обеда вышли в марш. Рота растянулась на полкилометра. Рядом с сержантом, заменявшим ротного, шёл Гришка Богуш с рацией. Сзади у него торчала антенна, похожая издали на крысиный хвост, а вблизи на тараканий ус. Гришка ржал и транслировал в микрофон рации порции густого мата.

Ночевали на шинелях вповалку. Под утро замёрзли. Я расковырял мокрую от росы Лёнькину шинель и полез к нему греться.

Рядом лежал шинельный сверток, из которого торчали ноги. На шинели сидела жаба.

Проснулся полковник Группый. Встал, оглядел поле спящих и сказал:

– Ну? Завтракать!

– Что, кричать подъём? – переспросил я.

– Я сказал: завтракать, товарищ, забыл фамилию.

– Но ведь все спят ещё, – заметил Лёнька.

– Ай-ай-ай, – изрёк полковник.

Тогда Лёнька, Артур, Байгушев и я, стоя над телами, набрали воздуха и взвыли радостно, на самой высокой ноте:

– Ррёта, па-адъё-ооом!!!

Поели, пошли.

Пуговкин в приплюснутой фуражке похож на длинный гвоздь. Ходит от взвода к взводу, шутит и ржёт, как Ратгауз.

Л. Козлов:

Примерно за полчаса до явления Группого спавший Артур вдруг вскинулся всем телом и пополз, голося:

– Ой, проститутка!

– Что?! Что?! – затормошились мы.

– Лягушка! Прямо на лицо прыгнула! Теперь спать не буду!

Его успокоили:

– Может, вовсе и не лягушка?

– А что!?

– Ну, вустрица...

– Да идите вы...

Палшков сел и запел:

– Дай ручку, товарищ далекий...

– Ножку хочешь?

Ратгауз, наворачивая портянки, сказал:

– Понял!

– Что понял?

– Луначарский в связи с «Эмпедоклом» Гельдерлина вспоминает слова Ницше о различии между Frevel и Sund. Только сейчас я понял, в чём различие! Frevel – это богохульство, в котором есть нечто героическое, что может быть источником трагедии. А Sund – это простой грех, источником трагедии быть не могущий...

И продолжал мотать портянку.

На марше он шёл, припадая на одну ногу, и пел себе под нос:

– Любо, братцы, любо, любо, братцы жить...

Полковник:

– Кто написал Алигер?

Молчание. Робкий голос:

– Зоя?

Полковник:

– Что Зоя? Какой-токой Зоя? Алигер уходит в горы!

– Алитет! – орём.

– Ну... Алитет.

... До лагеря каких-нибудь 20 минут хода. Остановились малым привалом на опушке рощи. Жарко. В ста метрах – колодец. Студёная вода. Бежим с котелками. На пути офицер:

– Не разрешаю!

Мы с Володькой Бочкарёвым падаем и притворяемся спящими. Когда офицер отошёл от колодца, мы, прячась за деревьями, пробираемся к воде и делаем по десять торопливых глотков.

Итак, пустив в ход солдатскую смекалку, мы перехитрили офицера и обманом напились воды.

Только в армии возможен такой абсурд.

ЗАПЕВАЙ!

Лежим в палатке и слушаем по радио австрийские песни. Команда строиться на ужин. Я никогда не думал, что австрийские песни так хороши. Идём молча: весь строй слушает радио.

Ведёт роту старшина Курвин. Командир 4 отделения Матуш шагает рядом. Мне до сих пор казалось, что тирольские йо-

гли поются только тенором. Оказывается – баритоном тоже. И очень красиво.

– Прелесть, правда? – вполголоса говорит Матеуш. Я киваю. Вдруг – обиженный голос Курвина:

– Запевай!

Заволновались. Из рядов кто-то чётко сказал:

– Старшина, мы хотим послушать радио. Неужели нельзя?

– Запевай!! – заорал Курвин.

Впереди раздался тонкий голос Озерова, но он не мог перекрыть радио. Взвод молчал. Песня захлебнулась.

– Кругом марш! – злобно крикнул Курвин. – Песню!

Мы сжали зубы. Семь минут мы молча ходили по кругу, и чем больше глотали пыли, и чем гнусавее кричал Курвин, тем твёрже мы знали: не будем.

Наконец, к Курвину подошёл Матеуш:

– Старшина, уйдите.

Наступила пауза. Видимо, Курвин хотел соблюсти достоинство. Уйти, хлопнув дверью. Курвин думал. Подумав, он сказал:

– Разболтались, второй взвод! Я давно имею к вам этот недостаток!

Поглядел на нас мокрыми обиженными глазами и ушёл.

– Дурачок, – раздалось вслед.

Радио смолкло.

Матеуш повернул взвод к столовой.

Спокойный Матеуш ни разу не вышел из себя за всё время сборов.

Он не командовал петь. Песня родилась сама, сильная и тяжёлая, и пели её с таким чувством, словно слова её ожили:

*Долго в цепях нас держали,
Долго нас голод морил,
Чёрные дни миновали,
Час искупленья пробил!
Свергнем могучей рукою
Гнёт роковой навсегда...*

У столовой какой-то сержант спросил:

– Чего это вы запели такую песню?

Я удивился:

– Почему же нам не петь революционную песню?

– Но ведь сейчас не революция. Она была давно.

Я чуть не ответил: «Слушаюсь!»

Слушаюсь!

20 августа

Я держал наготове фотоаппарат, чтобы снять дымовую завесу. Рота глядела, как из жестянки подымался и трепался по ветру тощенький чёрный дымок, и гадала, выходить или не выходить на боевую позицию. Сзади по дороге проехал грузовик, и столб пыли, поднятый им, погрёб «дымовую завесу». Рота дружно двинулась на позицию.

ЧУМА КОСИТ

Сегодня второй раз за весь срок сборов отдал честь и весьма доволен. Шли четыре полковника и о чём-то оживлённо беседовали. Они, видимо, не собирались отвлекаться от разговора на какого-то солдата, именно поэтому я подчёркнуто чётко козырнул.

Четыре полковника прекратили беседу.

Четыре полковника посмотрели на меня.

Четыре полковника откозыряли мне.

Я был доволен.

... Ношу с собой чудесное письмо Вадима:

... Ты – добрый, и был бы счастлив, если бы тебе разрешили всю жизнь делать хорошее и правильное и больше ни о чём не заботиться...

Вот что случилось во время моего дневальства. Я ходил по горячему песку, десять шагов туда, десять обратно. Варшамов и Курвин сидели в нашей палатке.

Курвин долго провожал меня взглядом, минут десять. Потом подозвал:

– Почему ходите на посту?

– Удобнее. (У меня при виде его лица появляется желание издеваться).

– Посмотрите: дневальные соседних рот стоят, а вы не можете?

Трудно было выдумать что-нибудь глупее: дневальный второй роты читает, сидя под грибком, дневальный четвёртой курсантской роты сидит в палатке, а дневального третьей курсантской роты вообще не видно.

– Вот-вот, посмотрите, как они стоят! – сказал я и уставился ему в глаза.

Варшамов молчал.

У Курвина сделалось лицо, как будто я отнял у него игрушку. Наконец, он сказал:

– Не берите с них пример. И... ходите не так шибко.

– Слушаюсь, – улыбнулся я и вернулся на пост.

Трус он, что ли, этот Курвин?

И ещё: я точно видел, что он курил в палатке.

Но нельзя делать хорошее и правильное и больше ни о чем не заботиться.

– Бочкарёв! Выйти из строя!

Курвин поджал губы и стал похож на варёного краба.

Володя вышел из строя и стал глядеть на Курвина. Тот взял под козырёк:

– Рядовой Бочкарёв! За курение в палатке объявляю вам... э... кхе... один наряд вне очереди!

Кто-то в строю откомментировал:

– Выследил.

Володя улыбался в лицо Курвину.

Я сказал:

– Старшина! Я видел, как вы тоже курили в палатке!

Загудели.

– А вы что, генералу тоже указывать будете? – прогнусил Курвин.

– Закон один для генерала и для солдата! – прокричали из рядов.

– Не учите старших по званию! – сказал Курвин. Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза. Потом я улыбнулся и сказал:

– Виноват.

Курвин отвернулся и пошёл прочь.

Странная у него походка. Маленький, идёт, как зашибленный.

Взвод смеялся ему в спину.

И поэтому тебе больнее, чем другим...

Курвин остановил нас, когда мы втроем шли от умывальника:

– У нас так не ходят!

– А как же у вас ходят? – поинтересовались мы.

– Строем ходят!

Симаков воткнул взгляд ему в пуговицу:

– А если бы нас было двое?

– Все равно строем!

В клубе фильм «Доктор Калюжный». Хорошая вещь, рядовая хорошая вещь, и хороша своим духом, настроением 30-х годов – пафосом бури и натиска. Тогда не боялись показывать всю грязь, потому что верили в победу над грязью.

Ты плакал, как ребенок, который долго скрывал, что у него сломали игрушку...

21 августа

Вадим Синявский, репортаж с матча:

– Яшин выбегает вперед! Не волнуйтесь, Лев Иванович, не волнуйтесь... Удар!! Яшин прыгает!!! Есть! Спокойно... спокойно... Пожалуйста, сидите спокойно: мяч в руках у Яшина. Вот он держит его. Правильно, Лев Иванович, надо подержать, надо подержать: мы ведь ведём три-два. Спокойно, не волнуйтесь.

– Судья подбегает к Посипалу, который отбил мяч головой, а теперь почему-то лежит. Игра остановлена. Вот туда уже бежит наш советский доктор. Что случилось? Ага, всё в порядке, всё в вертикальном положении.

– Судья Линд посматривает на свой секундомер. Я – тоже.

Самое омерзительное в Курвине – в сущности он бездельник. Целыми днями ходит между палаток, плюгавый, коротконогий, водит из-под козырька пуговками глаз и зудит, как комар.

Полковник Головин у палатки истфаковцев рассматривал этюды одного из них. Курвин подошел, пробубнил что-то. Головин кивнул и повернулся опять к студентам, что-то сказал художнику, тот ответил, все засмеялись, и Головин тоже. Вдруг Курвин шагнул к художнику и буркнул:

– Застегните воротник!

Никто не услышал, или все сделали вид, что не слышат, – продолжали разговор.

Курвин постоял и отошёл. Двинулся между палатками, заглядывая, где что, перебирая по песку ножками.

Бездельник.

Маразм крепчает от воскресенья к воскресенью.

Лежим в палатках.

– Рота, приготовиться к построению на ужин!

Лежим.

– Рота, выходи строиться на ужин!

Лежим.

– Рота, повзводно, в колонну по одному – становись! Движение в палатке.

– Равняйся!

Выскакиваем и несёмся в строй.

– Смирно!

Успели...

Симаков: выпуклые глаза сквозь выпуклые очки.

МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ

22 августа

Вечером зачёт по пулемёту.

Утром В. полчаса изучал наставление по автомату, уверенный, что это пулемёт, между тем, как автомат мы сдали вчера.

Маразм крепчает. Объявлено построение на обед. Мы с Лёнкой встаём и идём без строя. Дежурный выскакивает из палатки истфаковцев и, перекрикивая баян, орёт нам вдогонку:

– Куда без строя!?

– А мы по малой служебной надобности! – ответствуем.

– По ка-ко-ой надобности?! – надсаживается дежурный.

– По ма-алой!

– Что? Да тише ты, Ванька! – и начал пререкаться с баянистом, а на нас махнул рукой. И мы дунули дальше.

Крепчает маразм.

Свирепствует дизентерия. На дорожках – бочки с хлоркой.

В конце мёртвого часа появляется Федорченко:

– Строиться к врачу! – командует громко. И тихо добавляет: – Клистирные трубки вставлять будут.

Поднимается переполох, кто-то говорит, что это шутка; кряхтя и почёсываясь, строимся и идём к медбараку.

Выходит доктор. Переписывает выстроившихся. Командует:

– Принять коленно-локтевое положение.

Мы скулим. Правофланговый делает два шага вперед и, косясь на стакан с трубками, обречённо выполняет команду.

Мы застываем и зажмуриваемся.

Слышен старческий голос доктора:

– Боже, какие заросли...

Пауза выматывает нам души. Наконец, слышится:

– Благодарю вас. Можете встать в строй. Я получил колоссальное удовольствие.

– Служу Советскому Союзу! – выпрямляется отклистированный.

От медбарака один за другим отходят люди: держась за животы, не в силах согнать выражение гадливости с потемневших лиц, они глядят друг на друга безумными глазами. Молчание длится долго. Наконец, Артур Ермаков подводит черту:

– Итак, меня лишили невинности.

Пять дней до конца! Кража шомполов принимает масштабы эпидемии. В ружпарке шомполов уже нет: или украдены, или

свинчены хозяевами и спрятаны в палатках. У истфаковцев украдена из палатки пара штанов. Все ходят с фотоаппаратами: если оставить в вещах – украдут.

Слухи возникают и разносятся с быстротой бури. Уже дважды опровергнуто, что мы уезжаем послезавтра, трижды – что не хватает патронов и стрельбы будут отменены, и однажды – зловещий слух, что нас задержат на две недели в карантине.

Главный вопрос: когда подадут эшелон? Вчера этот вопрос задали дежурному по столовой, сегодня его задали майору на лекции по парт-политработе.

Вторая рота сдаёт лопатки и противогазы!!

23 августа

Четыре дня до отъезда.

Ротный объявил, что на оставшийся срок мёртвый час отменяется.

Замполит через сержанта Голованова передал нам строжайший приказ о прекращении по вечерам крика: «Очередному дню лагерных сборов...» – с присовокуплением коллективно выкрикиваемого непечатного слова.

Сданы малые сапёрные лопаты.

Мурадян бежал из лагеря, переодевшись в штатское платье. Пуговкин, узнав, сказал, что у него рука не дрогнет.

В середине дня журфаковцы из первого взвода стащили у Федорченко три гранаты. Через два часа им объяснили, что они забыли стащить к ним запалы.

После приказа ротного об отмене дневного отдыха мы спали на полтора часа дольше обычного.

Электричества нет.

Пользуясь ночной темнотой, Дима Черников, Володя Бочкарёв и я проникли в столовую, когда там ужинали курсанты, и тайно выпили три кружки чая без сахара.

24 августа

Три дня до отъезда.

Изматывающее безделье.

Когда нас гоняли, дни пролетали быстро: впереди была тяжёлая работа. Теперь впереди отъезд, и потому пустое время страшно тянется.

Солдат живёт диалектикой. С одной стороны, у него совершенно нет свободного времени: каждая минута заполнена осмысленными или неосмысленными делами, и эта навязанная

занятость очень утомляет. С другой стороны – если солдат выпадает из этой занятости, если у него выдается хоть час пустого времени, он положительно не знает, чем заполнить его. Читать уставы? Просто читать? Зная, что тебя в любую минуту могут оторвать от чтения?

Вот так и идёт жизнь между полюсами: сплошной изнуряющей занятости и безделья, нагоняющего тоску.

Тоска.

По дому?..

Хочется ли назад?

... По дому?

Вот поют песни. Вечер. Темно. Лежишь в палатке, не зная, куда деть себя. А в соседней палатке поют журфаковцы, коротая время до ужина. Они раскапывают такие старые, такие до боли знакомые, из детства идущие песни. Но не хочется идти к ним и петь их с ними – лежишь в темноте, и каждая песня поднимает пласт воспоминаний и оживляет давно забытые чувства, слова, мысли. Вспоминается всё с самого начала.

Дни первого курса. Наивные светлые дни, пылкие споры, океан новых впечатлений, когда мучительно и счастливо пытаешься определить своё место – новое место. А потом другое время, когда находишь это место в круговерти и суете. И как становишься на этом месте сначала (второй курс) «членом коллектива», потом (третий курс) «работником», потом (четвёртый) «деятелем».

Хочется ли мне назад? В те незабываемые первые дни, дни изумления и веры. Я смотрю на нынешних первокурсников и чувствую: нет. Не хочу. И не смог бы. Я знал бы наперёд финал каждого спора, конец каждой песни.

Как тянется время здесь и как страшно летит оно вообще. Так и чувствуешь, как между ярким и свежим впечатлением дня и тобой врезается тонкое бритвенное лезвие – и отрезает. И просвет всё больше. Ты ещё думаешь: «это близко», а «это» уже отделилось, отошло и никогда не повторится. Мутнеет, бледнеет пережитое за стеной часов, недель...

Вот уже и Закарпатье, и Мельчук как-то неуловимо отделились. И первый лагерный день, ну, вот хотя бы оркестр встречи – уже в лёгком тумане.

А назад не хочется, и это, может быть, самое лучшее и самое грустное.

Там всё поют песни.

Откуда эти мысли?

Наверное, чувствуется подступающий конец студенческих лет. И лагерь этот – тоже своеобразный финальный аккорд: так мы больше уже не будем вместе: пятый курс – уже не то, а там.

Как мы все переменялись со времени позапрошлого лагерь! Взрослее стали. Умнее. Спокойнее. Великодушнее. Наши споры уже не кончаются обидами и ссорами, они всё чаще кончаются смехом. Нам стало удобнее и неудобнее вместе. Удобнее – потому что мы научились прощать. Неудобнее, потому что свои привычки устоялись.

И если это неизбежно – надо смотреть вперёд.

А там – всё поют.

Три дня осталось, три дня, три дня.

Разнесся слух, что ярославский лагерь уже снялся. Утром с доски приказов исчезло расписание занятий.

Дизентерия! Увезли Любченко, потом Лёшу Киселёва и Володю Гудкова. Заболеть – значит остаться на 15 дней в госпитале. Каждый думает: что скорее: я отсюда смотаюсь или болезнь меня зацепит? Ходим и прислушиваемся к себе.

Вдруг подскакивает температура. Человек это скрывает. Портится желудок. Человек перестаёт есть, надеется переждать. Начинается кровавый понос, человека ведут в санчасть. Оставшиеся прислушиваются к себе...

Леня Маланчев три дня терпел, но сегодня всё-таки пошёл в санчасть.

В нашей палатке опять девять человек.

Группый решил устроить ночной поиск – за три дня до отъезда!!

Ребята ходят злые, как черти.

Генка Вохмянин запустил мне в голову «Будденброков». Не попал. Все замолчали, потом кто-то сказал:

– Не надо обижать Гену. Гена хочет домой.

Время замедлилось, как песня на патефоне с кончившимся заводом.

Желание удрать домой ощущается почти физически.

Если бы можно было пролистнуть эти дни, как эти страницы!

ПОИСК

Всё бы ничего, кабы мы взяли на занятия карабины. Но когда мы вышли из класса после зачёта по уставам, непроницаемый сероглазый Матэуш спросил Группого:

– Товарищ полковник, вести взвод прямо в поле?

Группый не понял и ответил:

– Да.

Мы поняли и возликовали, ибо «прямо в поле» означало «минуя ружпарк». Так мы вышли на занятия налегке, без карабинов, и расположились на опушке, ожидая полковника. Тот явился, обнаружил нашу невооруженную братию, понял, что его провели, и долго говорил нам свое «ай-ай-ай»: возвращаться за оружием было поздно: мы опоздали бы на ужин.

И опять всё было бы ничего, кабы мы подготовили приказ. Но из всего взвода ни один человек не выполнил этого распоряжения полковника.

И тогда Группый затопал ногами. Мы стали его уговаривать – он был невменяем. Мы ему напомнили, что до отъезда осталось три дня. Он только разъярялся. Мы сказали, что уже темнеет и что в лагере нас ждёт ужин, – он замахал руками:

– Чишшш!! Сейчас все... как миленькие... ползком марш! Ну? Раз-два! Ясненько?!

Всё было ясненько. Акрям Биишев пополз вперёд, чтобы в дальней траншее изображать противника. Быстро темнело. «Саперы» и «группа прикрытия» неохотно полезли вперёд на четвереньках; в темноте они напоминали каких-то странных животных.

Группый скомандовал:

– Вперёд, группа захвата! Раз-два! – пошёл к «противнику», где высилась статная фигура Матэуша и где засел Акрям. Полковник шёл во весь рост, а мы, «группа захвата», бежали за ним на четвереньках, впившись взглядом в его затылок: готовые припасть к земле, если он обернётся. Так мы миновали проход в заграждениях, а потом Артур обнаглел и затопал за полковником чуть не во весь рост. Группый услышал и обернулся. Мы упали.

– А ну назад шаг-марш! Раз-два!

Мы затаили дыхание. Никто не шелохнулся.

– Ай-ай-ай! Назад, я говорю.

Замерли. Ни шороха.

– Пы-лохо, товарищ забыл фамилию! Ай-ай!

Он прислушался к тишине, почесался и пошёл дальше.

До вражеской траншеи оставалось метров 25, когда мы разделились: Журат Ганиев, Артур Ермаков и Дима Черников поползли в обход, вернее, в обполз, а мы с Петей Шараповым поёрли в лоб, чтобы отвлечь. Подобрались метров на 10 к траншее и залегли, не особенно скрываясь и прислушиваясь к

тому, как Акрям что-то рассказывает Группому и Матэушу, а те смеются.

Потом стихло. Минут 15 мы лежали молча. Клонило ко сну. Впереди забеспокоились, видимо, вспомнив об ужине. Группый бросил в нашу сторону палкой. Мы продолжали лежать. Тогда из траншеи раздался голос Акряма:

– Тры-ды-ды-ды-ды!!!

– Что такой? Ш-ш-ш!! Ай-ай!

– А я их из пулемёта, товарищ полковник, чего они медлят!

– Какой-такой из пулемёта, чишшшш!

Опять тишина. Минут десять. Наконец, впереди обозначилась фигура и направилась к нам. Через минуту мы узнали фуражку Группого и его голос:

– Ну? Вы чего лежите, товарищ забыл фамилию?

Молчим.

– Чего лежите, спрашиваю?

– Так точно! – не выдержал я.

– Ай-ай! А ну, давайте: раз-два! А то верну как миленьких!

Он пошёл обратно.

Мы лежали недолго. Впереди раздался гик, посвист, с земли вскочили три фигуры и попадали на Акряма.

Потом мы бежали с ним к лесу. Акрям упирался:

– Вы меня несите! Я ж пленный!

Сзади шёл Группый и кричал:

– Не разговаривать! Противник подслушивает! Ложитесь! Ложитесь, товарищ... забыл фамилию!

Так истёк четвёртый день от конца.

МЫ ЕЁ ИЛИ ОНА НАС?

25 августа

Вчера перед отбоем увезли Сашу Морозова. Взвод опять гоняли на клистир. В первом отделении у троих понос, держится только Фогельсон. Каждое утро в сортире – пытка, пока не убедишься, что здоров.

Осталось два дня. Или мы её, или она нас.

Так или иначе – всех пронесёт. Одних в одном смысле, других в другом.

Два дня до конца – нас навьючили станковыми пулемётами, и мы потащились на самое дальнее стрельбище. Километра через два нас нагнал пустой грузовик: в кабине сидел вестовой, он ехал на кладбище, чтобы сообщить что-то лейтенанту минроты.

Но на этот раз испортилось что-то в механизме абсурдов: нас взяли на грузовик.

Л. Козлов:

Когда нас привезли, начался долгий перекур. Раздался громкий ликующий голос Федорченко:

– Вот он, Стечкин! Ты это, вот... пристёгиваешь приклад и фугуешь, фугуешь! Что тебе твой ТТ! – сверкая зубами и глазами, Федора стоял на бугре, простирая ввысь «Стечкина».

Между взрывами хохота можно было услышать тихий голос кого-то из журфаковцев:

– Поезд на Ковров. Узнать расписание и рвануть.

Механизм сработал: 5 км обратно тащили пулемёты на себе, пустой грузовик шёл сзади. Тело пулемёта тащили по очереди: Байгушев, Бочкарёв и Дольберг. Комедия, трагедия и... трагикомедия.

Интересно, что после нашего выхода в поле стрельбы отметили, и на полигоне наш взвод оказался единственным. Когда мы возвращались в лагерь, другие взводы смотрели на нас как на похоронную процессию.

Ещё два дня.

После обеда вместо мёртвого часа приказали чистить оружие. Едва мы расположились на стеллажах, скомандовали баню и погнали за полотенцами. Чаплеевский поставленным баритоном откомментировал:

– В конце концов этот армейский стиль мне надоел. В финале сборов он принимает беспросветный характер.

Козлов выразил эту мысль иначе:

– Последний фазис есть комедия.

Сдали карабины. Будь они.

После ужина Федорченко и другие командиры отделений со звериными криками играли в футбол перед ружпарком.

Курвин засёк курящего в палатке Шарапова и пожаловался:

– Опять! То он в сапогах ходить не может, а то курит в палатке.

26 августа

Предпоследний день. Заболели Олег Брыкин и Володя Бочкарёв.

«Дни, смешанные с поносом».

Ну, прицепился лагерь. Не вырвешься. Сегодня опять потащили за 5 км стрелять. Никак не отцепятся. Никак.

Каждый день заболевают двое-трое. Встаёт человек утром бледный и потный и, согнувшись, бежит. Когда возвращается и молча ложится, всем ясно: ещё один. Он лежит, спрятавшись в палатке, и молит, чтобы не нашёл его врач, ибо госпиталь – это ещё 15 дней.

Бочкарёв клянётся, что здоров.

Заболели Чаплеевский, Романенко и, кажется, Озеров.

Завтра – последний день.

Наверное, самыми мучительными будут последние часы.

Ещё и на Киевском минут двадцать буду ждать автобуса. Это уж как пить дать.

И даже на пороге дома, увидев мать, не вдруг освободишься от лагеря: сначала одежду в варку, сам – в ванну, и только потом:

– Здравствуй!

Отправили в госпиталь Володю Герасимова. В первом отделении осталось четверо здоровых. Кто ж поедет домой?

Сдали шинели. Злынский ликует, как ребёнок.

Заступаю в наряд. Ну, не смешно ли? Я буду в последний день дневалить! До самого последнего момента надеялся избежать этого удовольствия. Увы.

Стали с Лёнькой искать подворотнички. С трудом разыскали пару. Явились к Варшамову. Тот, глядя на наш вид, длинно и лениво матерился.

Уезжают (бегут) Артур и Сашка Палшков.

Пару строк на прощанье!

Месяц ада закончился. Хотя и было здорово, но свобода – дороже всего. Ура! А. Ермаков.

Эх! Послужить бы ещё год и десять месяцев! Дали бы мне медаль ЗБЗ. Как же я без неё теперь буду? П. Палшков.

Рапортует Л. Козлов.

19.39. Артур и Палшков перешли демаркационную линию. Над ними реяло облачко табачного дыма. Они шли, как под Триумфальной аркой.

19.41. Между палатками выкатился светло-коричневым комом Чаплеевский – в штатском и с чемоданом. Он перелетел через линейку и скрылся за деревьями.

19.43. К нам подходит Тигран Айрапетян:

– Вы как же, ребята!? Мы – снимаемся! Чума косит!

Лев отвечает, что мы в наряде.

Лёшка рванул неожиданно. Днём ходил по лагерю, звал в гости к себе в палатку. Был бледный, потный. А потом выскочил

с чемоданом, озираясь, и бросился к станции, натыкаясь на кусты.

От дизентерии бежал!

Страсти накаляются. Вечером какой-то сержант первого взвода поставил по стойке смирно журфаковца Новикова, встал перед ним и начал экзаменовать по уставам. Мордовал его больше часа и прекратил только потому, что крикнули на ужин.

В тот же вечер 16 журфаковцев бежало на станцию.

Репортаж Л. Козлова:

В то время, как сержант мордовал уставами Ваню Новикова, на линейку сзади него с гиканьем выкатился комок тел. Это были резвившиеся сержанты Федорченко и Голованов.

Лагерь пустеет. Над клозетом кружит воронье. Раздаётся громкий стук: мощный чёрный дятел долбит стену лагерного клуба.

Из второй роты осталось 2 взвода. Говорят, по дороге к станции выставлены пикеты.

За ужином начали растаскивать кружки.

Вечерней поверки не было. Шинели роты сложили в ружпарке. Боятся взлома. Я ночью в ружпарке. Баррикадирую дверь изнутри. Если станут ломиться, табуретка, подвешенная на дверь с помощью грабель, упадет на меня, и я проснусь, дабы встретить преступников по уставу. Кроме того, я придвинул к двери стол. Если его сдвинуть, то на пол с грохотом упадет жестяной бак. К двери оставлен узкий ход, и в этом ходе я лёг сам, подстелив семь шинелей и навалив на себя три. Уснул беспокойным сном под тяжестью лежащей на мне ответственности.

Наша песня!

Сегодня плотина была прорвана: мы её запели открыто, знаменитую песню «Федулово – Москва», сочинённую в позапрошлом году историком Сашей Григорьевым и ставшую гимном. В день приезда мы её запели в строю:

*Сколько исходили тропок и дорог,
Сколько износили кирзовых сапог,
Сколько исходили – и опять идём,
Сколько песен спели – и опять поём...*

Начальство растерялось. Но с замполитом майором Одиноким чуть не случился родимчик, когда мы грянули припев:

*Ша-гать осталось нам немного:
Вдали виднеется она:
Железная дорога
Федулово – Москва!!*

Назавтра особым приказом эта песня была запрещена. Молчание длилось двадцать пять дней. По вечерам до нас доносилось из Ярославского лагеря:

*Дальние просторы, небо и леса,
Но не для солдата вся эта краса,
Много есть на свете разных городов,
Но мы не забудем, мать его, Ковров!*

А из Владимирского лагеря откликалось:

*Сколько раз ходили, братцы, мы в наряд,
Драили картошку много раз подряд,
Сколько корок хлеба съели пополам,
Сколько ты, дружище, сбросил килограмм!*

Чем ближе к концу, тем чаще мы пели её вполголоса в палатках. И вот вчера, когда строем шли на ужин, в темноте раздался неуверенный голос:

*В лица бьётся ветер голубой волной,
С поля шли солдаты с песней боевой,
Соль на гимнастерках, лица все в пыли,
Взводы с полигона быстрым маршем шли...*

В короткий вздох ворвался довольный смех Злынского, потом старшина Курвин прокричал:

– Эту песню прекратить как похабную!

Но мы не прекратили, а в сто глоток подхватили, проорали:

*Шагать осталось нам немного!
Вдали виднеется она-а-а!
Железная дорога!!
Федулово – Москва!!!*

И взаправду запахло концом.

Яс-с-ное море

27 августа

Минут за десять до подъёма в дверь ружпарка постучали.

– Стой, кто идёт? – крикнул я из-под шинелей.

– Старшина!

– Какой именно старшина? – я узнал голос Курвина.

– Первой роты!

– Это какой первой? Студенческой?

– Студенческой, студенческой!

– Надо отвечать по уставу «Так точно»! – заметил я. – Наш

сержант всегда отвечает по уставу.

Матюги, раздавшиеся с той стороны, побудили меня свернуть диалог.

Курвин вошёл и велел вставать и идти убирать территорию. Я сказал «Слушаюсь» и запер за ним дверь.

Через несколько минут забили куранты, и дневальный крикнул:

– Подъём!

В ответ из палаток заверещали:

– Отбой!!

Историки запели:

– Цыплёнок жареный, цыплёнок пареный...

Бегут. Все.

Злынский ходит по лагерю без пояса и подворотничка.

Растоптали календарь у поста дневального. Пытались выложить из камешков цифру «27», но камешков не хватило, и ножку семерки составили из окурков.

Вчера хитрый Пуговкин заставил нас расписаться за деньги, которые выдаст завтра.

На завтрак выстроили взвод историков, отделение журналистов и шестерых филологов. Пуговкин скрипит зубами: «Яс-ное море!!»

Курвин ходит среди пустых палаток и угрюмо повторяет:

– После завтрака будет уборка территории.

Ротный прошёл по лагерю с сержантами, заглядывал в пустые палатки, ржал и говорил сержантам:

– Н-ну?! Как же это они все до одного сбежали из-под носа у вас, а?!

По слухам, полковники Группый и Одинокий ищут по всему лагерю подполковника Пуговкина (нашего «дядьку»), чтобы принять «срочные меры». Говорят, что оставшихся распустят, потому что их слишком мало для эшелона.

Группый ходит красный и растерянный. Я ему сказал, что не надо было раньше времени отдавать личные вещи. Он хотел что-то сказать, начинал и не смог. Он – начальник эшелона.

В 9.00 прекратили выдачу личных вещей.

В 11.00 стало известно, что командир одного из разбежавшихся взводов второй роты получил за всё это десять суток гауптвахты.

В 11.30 разнёсся слух, что полковники пишут рапорт, чтобы распустить нас сегодня.

В 12.00 разнёсся слух, что Пуговкин нарочно прозевал бегство – меньше народу, меньше возни.

В лагере остались только твердокаменные и мародёры. Первые драют сапоги убежавших, вторые расшвыривают кучи барахла по углам.

За ужином мне досталось две порции сахара.

За завтраком не досталось ни одной: всё расхватали со столов.

13.50. Пытаемся добыть личные вещи. Ратгауз призывает всех не нервничать.

Адрес Злынского: Мытищи, 2-й Первомайский проезд, 1. кв. 1.

14.00. Вещи у нас! И принёс их нам этот милый дьявол Федорченко.

Закрыв палатку, начали судорожно переодеваться.

Ратгауз, услышав голос Пуговкина, выставил наружу голову. Пуговкин, увидев его, сказал:

– Молодцы!! Моя опора. Не удрали, как эти... яс-сное море. Заскочил в палатку Злынский. Попрощались.

Пора. Выходим, озираясь.

Крик ротного:

– Рота, строиться на обед!

Пулей – через линейку и спринтом – к лесу. Догонят!!

Вот она, станция. Федорченко прибежал нас провожать. О, наш ангел!

Кончился лагерь. Истёк.

Нас семеро: Костромин, Романенко, Брыкин, Козлов, Ратгауз, Грачёв и я. 30 рублей денег – на всех.

Начинается новая эпопея безбилетного проезда до Москвы. Ура!

Итак, мы перелезли через колючую проволоку, оставив на ней ключья штанов и душ.

Перед нами расстилалось яс-с-сное море! Л.К.

ЖЕЛДОРФИНАЛ.